АЛЕКСАНДР БУЛГАКОВ

роман



ГЛИНА И ПЕПЕЛ

Александр Булгаков

Глина и пепел

«Автор»
2026

Булгаков А.

Глина и пепел / А. Булгаков — «Автор», 2026

Ур, конец третьего тысячелетия до нашей эры. Величайший город Шумера ещё стоит, его цари называют себя богами, а в дом табличек каждое утро бегут мальчишки, которых бьют палкой за кривой клин. Один из них, Лу-Нанна, сын землемера, станет писцом и полжизни будет записывать на глине чужие пайки, долги и приговоры, пока в гавань не перестанут приходить корабли, в городе не начнётся голод, а друг детства не уйдёт служить человеку, который строит себе новое царство в Исине.Состарившись в изгнании, Лу-Нанна садится писать о гибели Ура — но не так, как её поют в храмовом плаче. В его рассказе нет совета богов. Зато есть ткачиха, заложившая дочь за мешок ячменя, толстый купец, который на старости варил кашу для нищих, царевна, сама читавшая списки пайков, и сам рассказчик, которому однажды придётся решить, что выдавить на табличке: правду или то, за что заплатили.

© Булгаков А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Табличка из пепла 6
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЯНИЕ 9
Глава 1. Дом табличек 10
Глава 2. Тридцать сила ячменя 17
Глава 3. Ссора на школьном дворе 22
Глава 4. Царь женится 27
Глава 5. Смерть на канале 33
Глава 6. Пузриш-Даган 38
Глава 7. Тот, кто не знает зерна 44
Конец ознакомительного фрагмента. 51

Александр Булгаков
Глина и пепел

ГЛИНА И ПЕПЕЛ
Роман

Пролог. Табличка из пепла

Исин, около 1980 года до нашей эры

Мне принесли глину, и я сразу понял, что она плохая.

Слишком жирная, с песком, замешана наспех и не вылежалась. Хорошая глина должна пролежать в яме под мокрой циновкой хотя бы три дня, тогда она становится послушной, как тесто у хорошей хозяйки, и не трескается, когда в неё вдавливаешь клин. Эту замесили утром и сразу принесли — я понял по запаху: свежая глина пахнет рекой, а вылежавшаяся погребом.

Мальчишка, который притащил её в мою комнату, стоял у порога и ждал, когда я начну ругаться. В Исине все знают, что старый Лу-Нанна ругается, как погонщик, у которого осёл лёг посреди моста, и я его не разочаровал.

— Кто тебя учил месить? Шакал? У шакала хотя бы лапы чистые. Ты посмотри — тут песок. Тут камешек. Тут, во имя Нанны, кусок соломы. Ты что, собирался кирпич лепить? Это глина для табличек, а не для свинарника.

Мальчишка опустил голову и улыбнулся. Улыбаться он научился у меня: когда учитель орёт, не плачь, а улыбайся, иначе получишь второй раз. Ему двенадцать, столько же было мне, когда я впервые увидел, как горит город.

Нет, вру. Тогда мне было за сорок, а в двенадцать я впервые увидел царя. Глина ещё не высохла, а я уже путаю. Так бывает, когда тебе почти семьдесят и ты пережил собственную страну: память становится похожа на старый архив после наводнения, где всё на месте, но таблички перемешались, у половины отбиты углы, и никогда не знаешь, что вытащишь, сунув руку в корзину.

— Иди, — сказал я. — Вылей эту гадость обратно в яму и принеси ту, что под циновкой у колодца, я её позавчера замешивал. И воды.

Он кивнул и исчез. Он всё делает быстро — бегает, ест, пишет. Пишет, правда, плохо, но это пройдёт. У меня тоже прошло.

* * *

Вчера ко мне приходил человек из дворца — не посыльный в пыльных сандалиях, а сам старший писец царя Исина, ещё молодой, лет сорока, с завитой бородой, в хорошей шерстяной одежде с бахромой и с печатью на шнурке на шее. Он вошёл во двор, огляделся, увидел мои корзины с табличками, мою старую жену, дремлющую в тени, кошку на крыше и немного растерялся. Наверное, представлял себе дом знаменитого писца как-то иначе, а у знаменитого писца двор как у горшечника, да ещё кошка.

Он поклонился мне вежливо: не так низко, как кланяются старшим по должности, но ниже, чем простым старикам.

— Отец, — сказал он. Так писцы называют старых учителей, даже если те их не учили. — Во дворце хотят новый список «Плача о гибели Ура».

Я молчал.

— Старые копии истрепались, — продолжал он. — Их переписывали много раз, в них накопились ошибки. В одной пропущена целая песнь, в другой писец перепутал имена богов. А царь хочет, чтобы плач исполняли на празднике восстановления храма Нанны. Правильный плач, без ошибок. Кто, как не ты, помнит тот город? Кто, как не ты, видел его своими глазами?

— Многие видели, — сказал я.

— Многие умерли, — сказал он. — А те, кто жив, не умеют писать так, как ты.

Это была лесть, но приятная.

Я сказал, что подумаю. Он поклонился и ушёл, оставив на пороге корзину — подарок от дворца: кувшин хорошего масла, отрез ткани и горшочек мёда. Жена проснулась, посмотрела на корзину, потом на меня.

— Будешь писать? — спросила она.

— Буду.

— Плач?

— И плач тоже.

Она хмыкнула, как всегда хмыкает, когда понимает больше, чем я сказал.

* * *

Думать мне на самом деле было не о чем. Этот плач я знаю наизусть, лучше, чем имена собственных внуков.

Там всё правильно. Боги собрались на совет, и великий Ан, отец богов, и великий Энлиль, владыка ветров, решили погубить город, а почему — не сказано, боги не обязаны объяснять. Богиня Нингаль, жена Нанны, мать Ура, плакала, падала им в ноги и умоляла: «Пусть мой город не будет разрушен, пусть мой народ не погибнет». Но Ан не сказал «довольно», а Энлиль не сказал «хорошо». И пришла буря, которая разрушает страны и не знает ни матери, ни отца, и разрушила стены, и сожгла храмы, и наполнила улицы трупами, а Нингаль бродила среди развалин и плакала: «Мой город, мой дом».

Там есть всё, кроме людей.

В том плаче нет ткачихи, которая заложила свою дочь за мешок ячменя, и нет носильщика, который сначала строил стену, а потом умер на ней. Нет пастуха, который не умел читать, но знал каждую звезду по имени, и толстого купца, который плакал, как ребёнок, когда в гавань перестали приходить корабли, а в конце жизни варил кашу для нищих у своих ворот. Нет генерала, умевшего ставить кости на место, царевны, которая сама читала списки пайков, и женщины, которая спела царю песню и потом всю жизнь носила его ожерелье. И нет мальчика, который получил палкой за опоздание в школу и всю жизнь потом записывал чужие имена на мокрой глине.

Царей и богов в плаче хватает, а людей нет.

Поэтому сначала я напишу то, что хочу сам. А потом, если боги дадут мне ещё времени, перепишу им этот плач — красиво, без единой ошибки, с богами и советом богов. Обещаю.

* * *

Мальчишка вернулся с правильной глиной и кувшином воды, поставил всё передо мной и сел на пол, скрестив ноги, ждать.

— Что будем писать, дедушка? — спросил он. — Плач?

— Нет. Потом.

— А что?

Я взял комок глины и помял в пальцах. Она была хорошая — холодная, гладкая, послушная. Я раскатал её ладонью на доске, ровно, как пруд в безветренный день, взял тростниковую палочку, которую мы называем «гиш-дуб», «стило для табличек», и повертел её в пальцах. Пальцы всё ещё помнят, как её держать, хотя суставы ноют, а на указательном сидит мозоль, которой больше пятидесяти лет. Мозоль писца ни с чем не спутаешь.

— Будем писать про людей, — сказал я.

— Про каких людей?

— Про всяких. Про ткачих. Про носильщиков. Про пастухов. Про купцов. Про царей тоже, но немного.

Мальчишка нахмурился.

— Про ткачих не пишут, — сказал он. — Про ткачих пишут в списках пайков. «Такая-то ткачиха, тридцать сила ячменя». И всё.

Я посмотрел на него. Он сказал это так просто и уверенно, по-писцовски, будто это закон, установленный богами: про ткачих две строчки, про царей плачи.

— Вот именно, — сказал я. — Поэтому и будем.

— А кто будет это читать?

— Не знаю. Может быть, никто. Может быть, кто-нибудь через тысячу лет.

— Через тысячу лет никого не будет, — уверенно сказал мальчишка. — Через тысячу лет боги всё разрушат и создадут заново. Так в школе говорят.

— В школе много чего говорят, — сказал я. — В школе мне говорили, что Ур будет стоять вечно.

Он замолчал. Чем это кончилось, знают все в Исине, а я помню.

Я помню, как горел Экишнугаль, дом Нанны на вершине зиккурата. Пламя стояло над городом столбом выше самого зиккурата, и говорят, его было видно с моря, а синие изразцы лопались от жара и сыпались вниз, как дождь из кусочков неба. Помню звук, с которым рухнули Ворота Энлиля, — будто ломается огромное дерево. И помню, как на четвёртый день по главной улице к восточным воротам вели царя, босого, седого, с медным ошейником на шее, как собаку.

Этот конец знают все. А я хочу, чтобы знали, что было до него, чтобы конец не остался единственным, что от нас уцелело.

Я поднёс палочку к глине и задумался, с чего начать. Начну с порки — с неё начиналось всё, чему меня научили.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СИЯНИЕ

Царствование Шу-Суэна, царя Ура, царя четырёх сторон света

Глава 1. Дом табличек

Ур, около 2037 года до н. э.

Мать будила меня всегда одинаково: сначала тихо говорила моё имя, потом громче, а потом стаскивала с меня шерстяное одеяло и выливала на ноги ковш холодной воды.

— Лу-Нанна. Лу-Нанна! Солнце уже над храмом. Ты опять опоздаешь.

Я вскакивал, шипя от холода, и бежал во двор. Двор у нас был маленький, но свой: квадрат утоптанной земли между стенами дома, с колодцем посередине и финиковой пальмой в углу. Пальму посадил ещё дед, и каждую осень она давала корзину фиников, жёстких и мелких, но своих. Мать сушила их на крыше и прятала в кувшин, а я таскал оттуда по горсти, когда никто не видел. Мать, конечно, видела. Мать всегда всё видела.

Я умылся у колодца, натянул короткую, до колен, льняную рубаху и сел на пороге кухни, и мать сунула мне в руки горячую лепёшку с кунжутом и миску простокваши. Лепёшки она пекла в глиняной печи во дворе, прилепляя тесто изнутри к раскалённым стенкам. Если быстро сунуть руку и не обжечься, можно было стащить лепёшку прямо из печи, пока она ещё пузырится. У меня не вышло ни разу, и шрам на запястье остался до сих пор.

— Отец уже ушёл? — спросил я с полным ртом.

— Ушёл. На поля у канала Нанны. Там опять спорят про межу. — Мать завернула в тряпицу ещё одну лепёшку и положила её в мою сумку вместе с горстью фиников и куском сыра. — Это на обед. Не съешь по дороге.

— Не съем.

— Съешь, — сказала она. — Я тебя знаю.

Она поцеловала меня в макушку и подтолкнула к двери.

* * *

До эдуббы от нашего дома было не так уж далеко, если идти прямо. Но прямо в Уре не ходил никто. Город был построен не прямыми улицами, а клубком: переулки петляли, сходились и расходились, упирались в глухие стены, ныряли под арки, выводили на крошечные площади с колодцем и снова исчезали. Дома стояли тесно, стена к стене, все из одинакового сырцового кирпича цвета высохшей речной глины. Окон на улицу почти не было, только низкие деревянные двери, иногда с медными гвоздями, а за каждой дверью двор, и в каждом дворе своя жизнь.

Утром город шумел. Кто-то выплёскивал помои прямо на улицу, кто-то гнал козу, водоносы тащили на коромыслах кожаные мешки с водой из канала, пекари ругались с покупателями, а медники уже стучали в своих мастерских, так что их квартал было слышно за три улицы. Пахло дымом, хлебом, навозом, рыбой, кунжутным маслом и чем-то кислым из кожевенной мастерской, мимо которой я всегда пробегал, зажав нос.

В тот день я, наверное, пробежал бы мимо всего этого вовремя. Но у канала вдоль улицы медников я увидел баржу.

Её тащили бечевой с берега четверо рабов, голых по пояс, блестящих от пота, с верёвками через плечо. Широкая плоская баржа из связок тростника, обмазанных битумом, сидела в воде так низко, что вода почти переливалась через борт. На ней стояли десятки, если не сотни, кувшинов, запечатанных глиняными пробками с оттисками печатей, между кувшинами были увязаны тюки, а на самом высоком тюке сидел обезьянёнок. Настоящий обезьянёнок, на медной цепочке.

Я встал как вкопанный. Он был маленький, с кошку, бурый, с длинным хвостом и лицом старичка — морщинистым, хитрым и печальным сразу. Он сидел на тюке, обхватив колени лапами, и смотрел на берег, потом почесался, скорчил рожу водоносу, вытащил что-то из-за

щеки и бросил в прохожего финиковую косточку. Прохожий выругался, а обезьянёнок оскалился, будто засмеялся.

— Откуда он? — спросил я у человека в дорожном плаще и с посохом, шедшего по берегу рядом с баржей, — видимо, приказчика.

— Из Мелуххи, — сказал он, не останавливаясь. — Из-за моря.

— А где эта Мелухха?

— Далеко. За Дильмуном, за Маганом, там, где солнце встаёт. Там люди чёрные, как сажа, а слоны ходят по улицам, как у нас ослы.

— Что такое слоны?

Приказчик посмотрел на меня, как на дурака.

— Это такие быки, — сказал он, — только больше дома. С носом до земли. Ты что, не знаешь?

Я не знал. Я стоял и смотрел, как баржа уплывает к гавани, как обезьянёнок становится всё меньше и как он в последний раз оборачивается и, кажется, смотрит прямо на меня. Быки больше дома, с носом до земли, люди чёрные, как сажа, — где-то за морем есть такой мир, и обезьянёнок оттуда. Как я мог уйти?

* * *

Когда я наконец добежал до эдуббы, солнце стояло уже высоко, над самым зиккуратом, и во дворе школы было тихо. Тишина была плохая — та, что означает, что все давно сидят по местам, склонившись над табличками, а ты стоишь у двери, мокрый от бега, с сандалиями в руках, и знаешь, что сейчас будет.

Эдубба — по-нашему «дом табличек», то есть школа. Наша стояла в квартале у храма Нанны, в обычном с виду доме, только побольше. Во дворе вдоль стен тянулись кирпичные скамьи, на которых мы сидели; в одной комнате хранились таблички — старые образцы для переписывания, в другой стояли кувшины с водой и ящики с глиной, а в углу двора была яма, куда бросали испорченные таблички, чтобы потом размочить их и пустить в дело снова. Над всем этим нависал зиккурат — так близко, что в полдень его тень накрывала полдвора.

У двери стоял дежурный.

— Почему опоздал? — спросил он.

Он был из старших учеников, лет пятнадцати, и у него пробивались усы, которыми он страшно гордился и подкручивал их пальцами, когда думал, что никто не смотрит. Таких мы называли шешгаль, «старший брат». Старший брат проверял твою табличку, исправлял ошибки, показывал, как держать палочку, и иногда помогал, а иногда бил. Чаще бил.

— Мама задержала, — соврал я.

— Мама, — повторил старший брат и улыбнулся. — Мама в последний раз задерживала тебя три дня назад. А до этого неделю назад. Твоя мама, наверное, очень любит тебя задерживать. Иди, умиа хочет тебя видеть.

Умиа — «отец эдуббы», главный учитель. Наш умиа был длинный сухой старик с бритой головой, по которой выступали вены, похожие на русла каналов на карте. Говорили, что он учил ещё при великом царе Шульги и что сам Шульги однажды приходил в эту школу и хвалил его учеников. Может, и врали, но умиа держался так, будто это правда.

Он сидел в тени у стены на низком табурете и слушал, как самые младшие хором повторяют знаки. Малыши сидели перед ним на полу, раскачиваясь в такт, и тянули:

— А — вода-а. Ка — ро-от. Дуг — говори-ить. Ну — не-е.

— Ещё раз, — говорил умиа, не открывая глаз. — Ка — что?

— Ро-от!

— И ещё что?

Малыши молчали.

— «Ка» — это рот, — сказал умиа. — Но ещё «ка» — это «говорить», «кричать», «звать», а ещё просто слог «ка», как в слове «кага» — «во рту». Один знак — много смыслов. Как один человек может быть сыном, мужем, отцом и писцом одновременно. Понятно?

— Поня-атно!

— Врёте, — сказал умиа. — Но со временем поймёте.

Он открыл глаза и увидел меня.

— А-а, — сказал он, не вставая. — Лу-Нанна. «Человек бога Нанны». Хорошее имя. Бог Нанна каждую ночь встаёт на небо вовремя. Ни разу не опоздал за всю историю мира. Даже когда ему надо спуститься в подземный мир, он делает это строго по расписанию — три ночи в месяц, ни ночью больше, ни ночью меньше. Подойди.

Я подошёл.

— Покажи табличку, которую ты писал дома.

Я достал её из сумки. Табличка была маленькая, с ладонь, и вчера вечером я переписывал на ней список знаков. Вчера мне казалось, что вышло неплохо, но сейчас, в руках умиа, она выглядела так, будто по ней прошлась курица.

— Это что? — Он ткнул ногтем в знак.

— «Ка». Рот.

— Это не рот. Это дохлая лягушка. — Малыши захихикали; умиа даже не повернулся, и они смолкли. — Видишь, здесь клин должен идти вниз, а у тебя он завалился набок. Здесь должно быть три клина, а у тебя два с половиной. Это что, половина клина? Ты где видел половину клина? Ты знаешь, сколько стоит глина? Нет, не знаешь. Ты не знаешь ничего. Что ты делал вечером?

— Писал.

— Ты писал полчаса, а потом играл во дворе в бабки. Я знаю. Я всё знаю, я твоего отца учил. Он тоже играл в бабки. И всегда проигрывал, кстати. — Умиа поднял руку, и я услышал, как кто-то у меня за спиной хихикнул. — Тот, кто стоит у двери. Сюда.

«Тем, кто стоит у двери» у нас называли надзирателя. Отдельной должности такой не было, просто кто-нибудь из помощников учителя всегда стоял у двери с палкой из финиковой пальмы, гибкой и звонкой, как струна лиры. Сегодня у двери стоял Ур-Шульпаэ, огромный, похожий на быка человек с маленькими добрыми глазами. Бил он не сильно, но так, чтобы запомнилось. Говорили, что когда-то он сам здесь учился, но так и не выучил больше двухсот знаков, и умиа оставил его при школе — стоять у двери. Он не обижался и любил школу больше, чем любой из нас.

Ур-Шульпаэ подошёл, вздохнул и посмотрел на меня с сочувствием.

— Раз — за опоздание, — сказал умиа. — Два — за табличку. Три — за враньё про маму.

— За маму, может, не надо? — сказал Ур-Шульпаэ. — Он маленький ещё.

— За маму обязательно, — сказал умиа. — Писец, который врёт, хуже писца, который ошибается. Ошибку можно стереть. Враньё — нет.

Я повернулся спиной. Это было не в первый раз, и со временем учишься стоять ровно, не кричать и думать о чём-нибудь далёком. Я думал про обезьянёнка. На первом ударе он бросал финиковую косточку, на втором чесал ухо, а на третьем я подумал, что он, наверное, тоже скучает по своей стране, где по улицам ходят слоны с носом до земли.

— Садись, — сказал умиа. — Перепиши всю табличку заново. Двадцать раз. И чтобы ни одной лягушки.

* * *

Я сел на своё место на длинной кирпичной скамье вдоль стены и взял из ящика свежий комок глины. Рядом сидел Нигир-шага, сын храмового писца, в чистой белой рубахе и с кольцом на пальце, хотя было ему столько же, сколько мне. Он писал медленно и красиво, и клинья у него выходили ровные, как зубы у молодой собаки.

— Я видел, как ты пялился на обезьяну, — прошептал он, не поворачивая головы. — Ты сам как обезьяна.

— Ты сейчас сам будешь как обезьяна, — шепнул я. — Без зубов.

— Тишина! — крикнул старший брат.

Мы замолчали. Я разгладил глину ладонью и начал писать.

Знаки в нашей письменности не рисуют, а вдавливают. Тростниковая палочка срезана наискось, и если прижать её угол к глине, получается клин — маленький треугольник с хвостиком, глубокий в головке и тонкий в хвосте. Из клиньев складывается всё: вода, рот, бог, царь, ячмень, овца, смерть. Весь мир — из клиньев.

Когда-то, очень давно, знаки были картинками: чтобы написать «голова», рисовали голову, «рыба» — рыбу, «ячмень» — колос. Но картинки рисовать долго, а на мокрой глине кривые линии расплываются, и писцы стали их упрощать. Сначала повернули все картинки набок, чтобы удобнее было держать табличку, потом стали заменять линии клиньями, и голова превратилась в несколько клиньев, рыба — в несколько других, и теперь уже не узнаешь ни голову, ни рыбу, нужно просто помнить. Знаков около шестисот, у многих по нескольку значений, а есть ещё такие, что вообще не читаются, а только подсказывают: дальше будет имя бога, или название города, или что-то деревянное, или медное.

Умиа говорил, что знаки как люди: у каждого своё имя, свой характер и свои привычки. Одни дружат и всегда стоят рядом, другие ненавидят друг друга и никогда не встречаются на одной строчке. Чтобы стать писцом, нужно знать их всех, как пастух знает своё стадо.

Я переписал табличку двадцать раз. К десятому разу «ка» перестал быть похож на лягушку, к пятнадцатому стал похож на рот, а к двадцатому почти на тот «ка», что пишет Нигир-шага. Старший брат проверил мою работу, хмыкнул и отпустил обедать.

* * *

Обедали мы во дворе, в тени зиккурата, кто что принёс из дома. У Нигир-шаги была жареная утка, завёрнутая в лепёшку, и сушёные абрикосы с гор, а у меня лепёшка и сыр — финики я, конечно, съел ещё утром по дороге. Мать была права.

Рядом со мной сел Лу-Шульги, сын пивовара, толстый, весёлый, с вечно липкими пальцами. Учился он хуже всех в нашей группе и ничуть из-за этого не переживал.

— Сколько? — спросил он, кивнув на мою спину.

— Три.

— Мало. Мне вчера пять дали.

— За что?

— Раз — за то, что разговаривал без разрешения. Два — за то, что вышел за ворота без разрешения. Три — за то, что встал без разрешения. Четыре — за то, что табличка плохая. Пять — за то, что, когда старший брат спросил, почему табличка плохая, я сказал, что глина плохая. — Он засмеялся. — Глина и правда была плохая.

— Ты сказал это старшему брату?

— Я сказал это умиа. — Лу-Шульги откусил лепёшки. — Он согласился, что глина плохая. А потом всё равно велел дать. Сказал: «Хороший писец пишет и на плохой глине».

Мы помолчали.

— Ты когда-нибудь думал, — сказал Лу-Шульги, — зачем нам всё это?

— Что?

— Знаки. Шестьсот знаков. Порка. Двадцать раз переписывать. — Он махнул рукой на двор. — Мой отец не знает ни одного знака. А варит лучшее пиво в квартале. Его пиво пьют даже жрецы.

— Твой отец не может записать, сколько он сварил пива, — сказал я. — И сколько ему заплатили. И сколько ему должны.

— Ему не надо записывать. Он помнит.

— А если он забудет? А если кто-то скажет, что он не платил? А если ему дадут меньше ячменя, чем обещали? Кто докажет?

Лу-Шульги задумался.

— Ну, — сказал он наконец, — тогда он позовёт писца.

— Вот, — сказал я. — Писца.

Мне показалось, что я выиграл спор. Лу-Шульги посмотрел на меня, пожал плечами и доел лепёшку: ему было всё равно, он знал, что станет пивоваром, как отец, и писцы будут приходить к нему пить пиво. А мне было не всё равно. Я вдруг понял, что знаки — не просто шестьсот закорючек, а власть, потому что тот, кто умеет писать, решает, что было на самом деле. Тогда я ещё не понимал, как это страшно.

* * *

После обеда мы переписывали пословицы. Это было любимое занятие умиа: он читал вслух, а мы писали под диктовку.

— «Кто много ест, тот не спит», — читал умиа. — Пишите.

Мы писали.

— «Бедному лучше умереть, чем жить. Если у него есть хлеб, нет соли. Если есть соль, нет хлеба». Пишите.

Мы писали. Кто-то на задней скамье захихикал.

— «Писец, который не знает шумерского, — что это за писец?» Пишите. И запомните. Это про вас.

Писали мы до вечера, пока солнце не опустилось за стену, тень зиккурата не ушла со двора и не стало прохладно. Тогда умиа встал, потянулся, хрустнув суставами, и сказал:

— Всё. По домам. Завтра кто опоздает, тот получит не три, а пять. Лу-Нанна, это тебе.

— Я понял, умиа.

— Посмотрим, — сказал он.

* * *

Вечером я пришёл домой с распухшей спиной и пальцами в засохшей глине. Мать охнула и полезла в сундук за кунжутным маслом с какой-то травой, которое щипало так, что хотелось кричать сильнее, чем от палки.

— Терпи, — приговаривала мать, растирая мне спину. — Терпи. Знаешь, сколько твой отец получал? В три раза больше. И ничего, вырос.

Отец сидел на крыше. В Уре по вечерам все сидят на плоских крышах: там прохладнее, дует ветер с реки и виден весь город. Крыши у нас — вторые дворы: летом на них спят, сушат финики и бельё, ругаются с соседями через переулок и смотрят на звёзды.

Мой отец, Ур-Нингаль, был землемером, не самым важным, но и не последним. Он мерил поля, принадлежавшие храмам и царю, считал, сколько ячменя с какого поля нужно собрать, и спорил с крестьянами, которые всегда клялись всеми богами, что поле у них меньше, чем на табличке, а урожай побило саранчой. Почти все поля к югу от Ура он знал и по виду земли мог сказать, сколько она даст. Ходил он по полям с длинной мерной верёвкой с узлами через равные промежутки и с двумя помощниками, которые держали её концы. Был он невысокий, худой, с обветренным лицом и спокойными глазами, говорил мало, а улыбался ещё реже.

Я поднялся к нему по лестнице, прислонённой к стене двора.

— Опять? — спросил он, не поворачиваясь.

— Опять.

— За что?

— За обезьяну.

Отец не засмеялся. Он долго смотрел на меня, потом снова на запад, где садилось солнце и небо над рекой было красное, как сердолик.

— За обезьяну, — повторил он.

— Она была из Мелуххи. С цепочкой. Она бросала косточки. Приказчик сказал, что там слоны — быки больше дома, с носом до земли.

— Я знаю, что такое слоны.

— Ты видел?

— Нет. Мне рассказывали. — Отец помолчал. — Когда я был маленький, я тоже хотел увидеть слона. Думал, стану купцом. Буду плавать в Мелухху, привозить слоновую кость и сердолик.

— А почему не стал?

— Потому что мой отец был землемером, — сказал он. — И его отец был землемером. А купцами становятся сыновья купцов.

Мы сидели молча. Внизу во дворе гремела горшками мать, на соседней крыше женщина тихо и протяжно пела колыбельную, а над зиккуратом зажглась первая звезда.

— Завтра я приглашу умиа к нам домой, — сказал отец.

Мне стало страшно. Если учителя приглашают домой, значит, тебя собираются забрать из школы и отдать в подмастерья. Я знал мальчика, которого так забрали, — Лу-Энлиля, сидевшего через два места от меня. Его отдали к горшечнику, и теперь он целыми днями крутил гончарный круг и пах мокрым илом, а встречая меня на улице, отворачивался.

— Ты меня заберёшь? — спросил я.

Отец удивлённо посмотрел на меня, потом понял.

— Нет, — сказал он. — Не заберу.

— А зачем тогда?

— Увидишь.

* * *

На следующий вечер умиа сидел у нас во дворе на почётном месте. Мать готовилась весь день: сходила на рынок за большим жирным карпом из канала с золотой чешуёй и зажарила его на кунжутном масле с луком и чесноком, сварила чечевичную похлёбку с бараньим жиром, напекла лепёшек, да не простых, а с финиковым мёдом внутри, достала из подвала кувшин финикового пива, который берегла для праздника, и застелила почётное место, циновку у стены, лучшим ковром в доме. Никогда, даже на Новый год, я не видел, чтобы она так старалась.

Умиа пришёл в своей обычной старой, потёртой одежде с заплатой на плече. Он сел на ковёр, огляделся, увидел угощение, и брови у него поднялись. Отец собственноручно налил ему пива в лучшую чашу, медную, с узором по краю, и протянул длинную тростниковую трубочку с серебряным ситечком на конце, чтобы не попадала шелуха.

Ели и пили они долго, говорили о погоде, о ценах на ячмень, о новом царе Шу-Суэне, который, говорят, собирается строить стену против кочевников-марту, и о школе. Умиа рассказывал, как учил когда-то моего отца и как тот однажды пытался спрятать испорченную табличку в яме для глины, а старший брат нашёл её и принёс умиа.

— Он тогда получил десять, — сказал умиа и засмеялся. — Десять! Я думал, он заплачет. А он не заплакал. Стоял ровно, как этот мальчик вчера. Знаешь, о чём он думал? Он потом мне рассказал. Он думал о слонах.

Я уставился на отца. Отец смотрел в свою чашу.

Потом он встал, ушёл в дом и вернулся с новой шерстяной одеждой, настоящей, тонкой, светлой, с бахромой по краю, — такую носят только по праздникам. Я знал, что мать полгода ткала её по вечерам для отца. Отец развернул одежду и накинул учителю на плечи. Умиа замер. А отец снял с пальца кольцо и надел его на палец умиа.

Я сидел в углу и не верил своим глазам. Кольцо было серебряное, с маленьким сердоликом; его подарил отцу дед, когда отец стал землемером, и отец двадцать лет его не снимал — ни когда мылся, ни когда спал.

Умиа посмотрел на кольцо, потом на отца, потом на меня и вдруг улыбнулся — не так, как в школе, когда улыбка значит «сейчас будет больно», а по-другому, почти по-дедовски.

— Мальчик, — сказал он, — иди сюда.

Я подошёл. Он взял меня за правую руку, ту, которой я пишу, и повертел её, разглядывая.

— Не обращай внимания на то, что я тебе говорил, — сказал он. — Руки у тебя хорошие. Пальцы длинные, крепкие. Глаза хорошие. Ты видишь то, чего другие не видят, — например, обезьян. Для писца это полезно. Писец должен видеть всё, не только то, что ему велят записать. Всё. — Он помолчал. — Ты станешь хорошим писцом. Может быть, лучшим из моих учеников. Может быть, даже напишешь табличку, которую прочтёт сам царь.

Мать заплакала от счастья, а отец кивнул, не меняя лица.

* * *

Когда умиа ушёл, слегка покачиваясь от пива, в новой одежде и с кольцом на пальце, я спросил отца:

— Он правду сказал? Про лучшего ученика?

Отец стоял у ворот и смотрел учителю вслед, а потом посмотрел на свой пустой палец, где осталась белая полоса — там, где двадцать лет было кольцо.

— Он сказал то, за что ему заплатили, — ответил он. — А правда будет зависеть от тебя.

Он закрыл ворота и ушёл в дом, а я остался во дворе. Мать убирала посуду, шелестела листьями пальма, и над стеной вставала луна — серебряная лодка бога Нанны, который ни разу за всю историю мира не опоздал.

Через много лет, когда я сам учил детей, я понял, что умиа сказал правду. Не потому, что получил кольцо, а потому, что после того вечера я больше ни разу не опоздал. Почти ни разу.

Глава 2. Тридцать сила ячменя

Гирсу, провинция Лагаш, около 2035 года до н. э.

Геме-Нанше просыпалась раньше солнца, раньше петухов и раньше своих детей. Это было единственное время, когда её никто ни о чём не просил.

Она лежала на циновке и слушала дом. Дом был маленький — одна комната, сложенная из сырцового кирпича, с плоской крышей из тростника и пальмовых жердей, обмазанных глиной. Дверь выходила в узкий дворик, где стоял очаг, ступка для зерна и кувшин с водой. За стеной дворика была стена соседнего дворика, а за ней — ещё одна, и ещё. Квартал ткачих в Гирсу был похож на соты в улье: сотни одинаковых ячеек, в каждой — женщина, дети и иногда муж.

Она слушала, как дышит младший, Шешкалла, — тихо и часто, как воробей. Ему было четыре года, и он спал, свернувшись калачиком, прижав к груди деревянную лошадку, которую выстругал ему отец. Лошадка была кривая, с одним ухом, но Шешкалла её обожал и называл «онагр». Старшая, Нинтур, спала, раскинув руки, и во сне что-то бормотала. Нинтур было восемь, и она уже говорила во сне, как взрослая: про воду, про то, что у соседки опять убежала коза, про то, что надо купить соли.

Муж лежал у стены, отвернувшись, и храпел. Лу-Баба храпел так, что, казалось, дрожала тростниковая крыша. Когда они только поженились, Геме-Нанше не могла спать из-за этого храпа и думала, что сойдёт с ума. А теперь не могла уснуть, если его не было рядом. Тишина пугала её больше, чем храп.

Имя Геме-Нанше значит «служанка богини Нанше». Нанше — богиня Лагаша, хозяйка каналов и болот. Жрецы говорят, что каждый Новый год она садится на трон и судит людей: кто обманывал на весах, кто обижал вдову, кто отнимал у сироты.

Геме-Нанше не была ни вдовой, ни сиротой, поэтому не очень рассчитывала на защиту. Она рассчитывала на собственные руки.

Руки у неё были ткацкие: в мозолях и мелких порезах от нити, с ногтями, обломанными до мяса. Пальцы на правой руке чуть искривлены — от челнока, который она держала каждый день по десять часов с тех пор, как ей исполнилось двенадцать. Она работала в большой храмовой мастерской при храме богини Бау, и мастерская эта была как город в городе.

* * *

Когда небо на востоке стало цвета разбавленного молока, она встала, умылась водой из кувшина, плеснула воды на лицо и шею. Разожгла очаг — сушёным навозом, смешанным с соломой: дерева в Гирсу почти не было, дерево было дорогое, его привозили с гор. Бросила в горшок горсть ячменной крупы, залила водой, посолила. Потом разбудила детей.

— Нинтур. Вставай. Вода.

Нинтур открыла глаза, мгновенно, как птица, и села.

— Коза опять убежала, — сказала она.

— Чья коза?

— Нин-ки. Соседки. Мне снилось.

— Сны — это для жрецов. Иди за водой.

Нинтур взяла кувшин и выбежала за ворота. Ходить за водой надо было к каналу, на край квартала, и там всегда была очередь: женщины, девочки, старухи с кувшинами на головах. У канала можно было узнать все новости — кто родился, кто умер, кто с кем поругался, сколько ячменя дадут в этом месяце. Нинтур любила ходить за водой. Она возвращалась оттуда с полным кувшином и с полной головой сплетен.

Шешкалла заныл. Он всегда ныл по утрам. Геме-Нанше взяла его на руки, покачала, сунула ему в рот кусочек сушёного финика. Он замолчал и начал жевать.

Лу-Баба сел, потёр лицо ладонями и зевнул так, что хрустнула челюсть.

— Мне сегодня к надсмотрщику, — сказал он. — Говорят, людей набирают.

— Куда?

— На канал. Большой канал на востоке, тот, что ведёт к границе с Эламом. Его занесло илом. Царь велел расчистить к разливу.

Геме-Нанше помешала кашу. Она знала, что такое «расчистить канал». Это значит месяц, а то и два стоять по пояс в жидкой грязи под палящим солнцем, вычерпывать ил корзинами, передавать корзины по цепочке на берег, спать в шалашах из тростника, есть, что дадут, и возвращаться домой худым, почерневшим и кашляющим. Её отец ходил на каналы каждый год. Он умер, когда ей было десять лет, — от кашля, который принёс с одного из каналов и уже не смог выкашлять.

— А если не пойдёшь?

— Тогда надсмотрщик вычеркнет меня из списка на землю, — сказал Лу-Баба. — Ты же знаешь.

Она знала.

У Лу-Бабы был надел. Небольшой — несколько полос земли за городом, у малого канала, которые храм дал ему в пользование за службу. Земля была хорошая, жирная, чёрная. На ней рос ячмень, лук, чеснок, бобы. Землю нельзя было продать, нельзя было оставить детям — она принадлежала храму, а храм принадлежал богине, а богиня, как известно, никому ничего не продаёт. Её можно было только обрабатывать и платить с неё долю урожая. И служить. Каждый год, когда храм требовал, — идти на работы: копать, носить, строить.

Пока земля была, у них был ячмень сверх пайка, был лук, были бобы. Без неё они бы жили только на то, что Геме-Нанше получала в мастерской. А этого хватало, только чтобы не умереть.

— Иди, — сказала она.

Лу-Баба кивнул. Он подошёл к очагу, заглянул в горшок, понюхал.

— Соли мало.

— Соль кончается. Нинтур купит.

— На что?

— На шерсть. У меня есть немного.

Лу-Баба помолчал. Потом обнял её сзади, уткнулся носом ей в шею. От него пахло сном и потом.

— Я принесу, — сказал он. — С канала. Там дают паёк лучше, чем здесь. Принесу и соль, и масло. И рыбу.

— Ты принеси сам себя, — сказала она. — Живым. Этого хватит.

* * *

В мастерской было жарко уже с утра.

Мастерская занимала целый квартал за храмом Бау. Её окружала стена — не для защиты, а для порядка: чтобы работницы не уходили без разрешения и чтобы шерсть не выносили за ворота. У ворот стоял привратник и записывал, кто пришёл, кто ушёл. Внутри, под длинными навесами из тростника на деревянных столбах, рядами стояли станки.

Станок — две жерди, вбитые в землю, и между ними сотни нитей основы, натянутых, как струны. Ткачиха сидит на земле и гонит челнок поперёк: туда — прибила планкой, обратно — прибила. Туда-сюда. Целый день.

Сотни женщин. Говорили, что в мастерских Гирсу работает больше шести тысяч женщин и детей. Геме-Нанше не могла себе представить такое число. Писцы, наверное, могли.

Женщины работали группами. Каждой группой — двадцать, тридцать ткачих — командовала старшая, «угула». Угула следила, чтобы никто не ленился, распределяла шерсть, проверяла готовую ткань, ругалась, хвалила, иногда била. Угулой у Геме-Нанше была Нин-кала,

вдова лет пятидесяти, суровая, сухая, с голосом, как у вороны. Её боялись, но уважали: она была справедливая. Если ты работала хорошо — она это видела. Если плохо — тоже видела.

Женщин в мастерских называли просто «геме» — «женщины», «работницы». Геме-Нанше иногда думала, что её родители дали ей имя с запасом: она была работницей ещё до того, как начала работать. «Служанка Нанше». Служанка. Всю жизнь.

Самые опытные ткачихи ткали в отдельном дворе тонкую шерсть — для храмов, для дворца в Уре, даже за море, в обмен на медь. Геме-Нанше ткала грубую, некрашеную — на рубахи тем самым мужчинам, которые чистят каналы. Может быть, Лу-Баба будет копать канал в рубахе, которую она соткала. Она подумала об этом, и ей стало смешно и грустно одновременно.

* * *

Рядом с ней сидела старая Нин-лагаль, которая проработала в мастерской всю жизнь — сорок лет, а то и больше, — и знала все сплетни, все цены и всех писцов по именам. Нин-лагаль была маленькая, сгорбленная, почти беззубая, но пальцы у неё летали над станком быстрее, чем у любой молодой.

— Сегодня раздача, — сказала Нин-лагаль, не отрываясь от работы. — Слышала? Новый писец будет. Молодой. Говорят, из Ура прислали.

— Мне всё равно, какой писец, — ответила Геме-Нанше. — Лишь бы ячмень был.

— Будет. Сейчас хорошее время. При старом царе было хорошо, а при этом ещё лучше. Шу-Суэн, да будет он жив, — Нин-лагаль подняла глаза к небу, — заботится о своих работниках.

Геме-Нанше промолчала.

— А ты знаешь, — продолжала Нин-лагаль, понизив голос, — что новый царь не сын старого? Старый царь, Амар-Суэн, умер, говорят, от того, что наступил на скорпиона. Прямо в сандалии. Скорпион ужалил его в ногу, и через три дня он умер. А Шу-Суэн — его брат. Или сын? Нет, брат. Или… — Она задумалась. — Неважно. Главное — хорошо платит.

— Скорпион, — повторила Геме-Нанше. — Царь — бог, а умер от скорпиона.

— Тише ты! — Нин-лагаль оглянулась. — Боги тоже умирают. Думузи умер. Его демоны утащили в подземный мир. Об этом все песни.

— Думузи вернулся.

— На полгода. Потом опять ушёл. — Нин-лагаль хмыкнула. — Так что, может, и царь вернётся. Через полгода.

Они засмеялись тихо, чтобы не услышала Нин-кала.

Геме-Нанше никогда не видела ни старого царя, ни нового. Царь жил в Уре, далеко на юго-западе, в огромном дворце, где, говорили, полы покрыты коврами, а на стенах висят золотые щиты. Царь был, как солнце: где-то есть, всех греет, но лучше на него не смотреть. Ей казалось, что между ней и царём — сотни людей: угула, надсмотрщик, писец, управляющий храмом, энси Лагаша, великий визирь… И каждый из них берёт себе немного того тепла, которое царь посылает вниз. Так что до неё доходят только тридцать сила ячменя.

* * *

После полудня на площадке у амбара выстроилась очередь.

Амбар храма Бау был огромный — длинное здание без окон, с толстыми стенами, чтобы зерно не нагревалось. У дверей всегда стояла стража. Внутри, говорили, хранилось столько ячменя, что можно было бы кормить весь Гирсу целый год. Но кормили только тех, кто был записан.

Женщины стояли с корзинами и мешками. Дети прятались за их юбками. Кто-то кормил младенца грудью прямо в очереди. Кто-то ругался — пролезла без очереди, а ты кто такая, а ты сама кто такая. Нин-кала ходила вдоль очереди и наводила порядок своим вороньим голосом.

За низким столиком под навесом сидел писец. Нин-лагаль не соврала: он действительно был молодой, худой, с острым носом и смешными оттопыренными ушами. Он был похож на мышь, которая выучилась писать. Перед ним лежала стопка табличек — больших, плотно исписанных, с колонками имён и цифр. Он сверял каждую женщину со списком. Водил пальцем по строчкам, находил имя, кивал отмерителю.

Рядом с писцом стоял надсмотрщик мастерской — грузный, ленивый Ур-Игалима, с тремя подбородками и маленькими глазками. Он ничего не делал. Просто стоял и смотрел. Это была его работа.

И отмеритель — с деревянной мерой. Мера называлась «сила». Сила — это примерно литр, полная глубокая плошка. Дети так и говорили: «плошка». Но точно, до зёрнышка, меру знали только писцы и отмерители, и спорить с ними было бесполезно: в этом была их власть.

Шешкалла держался за юбку матери и смотрел на писца, раскрыв рот.

— Мама, что он делает?

— Читает.

— А что он читает?

— Наши имена.

— А моё имя там есть?

— Есть.

— А как оно выглядит?

Геме-Нанше не знала. Она никогда не видела, как выглядит её имя. Или имя её сына. Или чьё-нибудь имя. Знаки на табличке были для неё как следы птиц на мокром песке: она видела, что они что-то значат, но что — не понимала.

— Подрастёшь — спросишь у писца, — сказала она.

Очередь двигалась медленно. Солнце жгло. Когда Геме-Нанше наконец подошла к столу, у неё кружилась голова.

— Геме-Нанше, — прочитал писец, водя пальцем по табличке. — Ткачиха. Группа Нин-калы. Тридцать сила ячменя.

— Тридцать, — подтвердил Ур-Игалима.

Отмеритель зачерпнул мерой ячмень из кучи и высыпал в её корзину. Раз. Два. Три. Она считала про себя, шевеля губами. Считать она умела — до ста, а если постараться, то и дальше. Её научила мать. Мать говорила: «Писать тебе не нужно. А считать — нужно. Иначе обманут».

Тридцать сила на месяц.

— Нинтур, дочь, — прочитал писец. — Десять сила. Шешкалла, сын… — Он запнулся, поднял глаза. — Сколько ему?

— Четыре года.

— Пять сила.

— Пять? — переспросила Геме-Нанше. — Он ест, как взрослый.

— Он записан как маленький, — сказал писец, не поднимая глаз. — Вырастет — запишем по-другому.

— Когда он вырастет?

— Когда вырастет, тогда и запишем.

Ур-Игалима хохотнул. Женщины в очереди зашептались.

— Он растёт каждый день, — сказала Геме-Нанше. — Он ест каждый день. А записываете вы раз в год.

Писец поднял глаза. Он посмотрел на неё с удивлением, как будто стол вдруг заговорил с ним. Потом посмотрел на Шешкаллу. Мальчик стоял, держась за юбку, и смотрел на писца большими серьёзными глазами.

Писец помолчал. Потом опустил глаза на табличку.

— Следующая, — сказал он.

Но, отдавая ей бирку на масло, он чуть задержал руку. И, когда отмеритель отвернулся, сказал тихо, почти шёпотом:

— В следующем году его перепишут. Я запомню.

Она не знала, верить ли ему. Писцы много чего обещают.

Ей дали ещё полкувшина масла — кунжутного, мутного — и комок шерсти, который считался частью платы за работу. Шерсть она отдаст соседке-пряхе. Соседка спрядёт из неё нитку и вернёт половину. Из нитки можно сшить рубаху Шешкалле — его старая стала совсем короткой. Или продать нитку на рынке и купить соли.

Сорок пять сила на троих на месяц. Если варить кашу два раза в день, жидкую, — хватит. Если не болеть. Если не будет праздников. Если Лу-Баба принесёт что-нибудь с канала.

* * *

Вечером она сидела на пороге своего дома и смотрела, как дочь толчёт ячмень в каменной ступке. Нинтур толкла усердно, высунув кончик языка, и каждый раз, когда пестик ударял о дно, приговаривала:

— Раз. Два. Три. Четыре…

— Зачем ты считаешь?

— Чтобы знать, сколько раз. Нин-лагаль говорит, что всё надо считать. Иначе обманут.

Геме-Нанше засмеялась. Первый раз за день.

Лу-Баба вернулся поздно, уставший и весёлый.

— Взяли, — сказал он. — Через три дня уходим. Нас из Гирсу — двести человек. Говорят, на канале будут давать пиво. Каждый день. И лук. И рыбу по праздникам.

— Пиво, — повторила она.

— И лук.

Она не стала ничего говорить. Он сел рядом, обнял её за плечи — от него пахло потом, землёй и почему-то рыбой: он, видимо, по дороге помогал соседу чистить улов, — и они вместе смотрели, как над храмом бога Нингирсу загораются звёзды.

Храм Нингирсу, бога-воина, был самым большим в Гирсу. Сто лет назад его отстроил правитель Гудеа и велел написать на огромных цилиндрах, что, пока строился храм, в Лагаше никто никого не обижал: мать не наказывала ребёнка, хозяин не бил раба, и вдова не плакала. Геме-Нанше однажды слышала, как жрецы читали это вслух на празднике.

Она тогда подумала: а после того, как храм построили, — что, снова начали?

— Я вернусь до разлива, — сказал Лу-Баба. — Принесу тебе рыбу. Большую. Вот такую.

Он развёл руки так широко, что задел её щёку. Нинтур засмеялась. Шешкалла, который уже спал на циновке со своей кривой лошадкой, проснулся и тоже засмеялся, не зная чему.

— Такой рыбы не бывает, — сказала Геме-Нанше.

— Бывает. В большом канале бывают сомы с человека ростом. Я видел. Один раз. Он утащил собаку.

— Врёшь.

— Не вру. — Лу-Баба улыбнулся в темноте. — Вот поймаю — увидишь.

* * *

Где-то в храмовой канцелярии в это время молодой писец с острым носом, наверное, складывал таблички в корзину. На одной из них, среди сотен других имён, было написано: «Геме-Нанше, ткачиха, тридцать сила». Глина высохнет. Табличка ляжет в архив, на полку, среди тысяч других табличек. Пройдут годы. Может быть, сотни лет. Может быть, тысячи. И, может быть, кто-нибудь когда-нибудь прочитает её и подумает: тридцать сила — это много или мало?

Это было мало. Но тогда она ещё не знала, как мало можно получать.

Глава 3. Ссора на школьном дворе

Ур, около 2035 года до н. э.

Два года спустя я уже не был новичком. Я знал больше трёхсот знаков, умел писать имена богов, длинные, с почётными прозвищами — «Нанна, светлый бог, первенец Энлиля, владыка Ура», — названия городов, каналов и храмов, меры зерна и масла, веса серебра и длину полей. За кривые клинья меня бить перестали. Теперь меня били за другое — за то, что я спорил.

Школа за эти два года стала мне вторым домом, а иногда и первым. Я приходил туда раньше солнца, а уходил, когда тень зиккурата ложилась на весь двор. Я знал каждую трещину в кирпичных скамьях, каждую ямку в полу и каждый голос. Знал, что у умиа перед дождём болят колени и в такие дни лучше не попадаться ему на глаза; что Ур-Шульпаэ, «тот, кто стоит у двери», носит в поясе медовые пряники и тайком даёт их малышам; что старший брат с усами, Лугаль-иту, влюблён в дочь пекаря и каждый вечер трижды проходит мимо её дома туда и трижды обратно.

От простого к сложному мы поднимались, как по ступеням зиккурата. Сначала отдельные знаки, потом списки слов — всё деревянное, тростниковое, глиняное, кожаное, медное, по сотне и по две сотни строк: «Дверь деревянная. Дверь из кедра. Дверь из кипариса. Дверь, обитая медью». Мы переписывали их без конца. Потом шли списки животных, птиц, рыб, растений и камней, потом профессий — «писец, писец полей, писец скота, писец храма, писец царя», — потом тысячи имён, мужских, женских и детских.

Потом пошла математика, и это было самое страшное. Мы считаем не десятками, как, говорят, считают в некоторых странах, а шестидесятками: шестьдесят — одна большая единица, шестьдесят раз по шестьдесят — ещё большая. Почему шестьдесят? Умиа говорил, потому что шестьдесят делится на два, три, четыре, пять, шесть, десять, двенадцать, пятнадцать, двадцать и тридцать, и так удобно делить ячмень между работниками, землю между наследниками и серебро между купцами. Нам давали задачи: «Поле длиной столько-то и шириной столько-то. Сколько ячменя нужно, чтобы засеять его?» «Канал длиной столько-то, глубиной столько-то. Один работник выкапывает в день столько-то. Сколько работников нужно, чтобы выкопать канал за месяц?» «Сто двадцать ткачих получают по тридцать сила в месяц. Сколько гур ячменя нужно на год?»

Задач этих я не любил и не понимал, зачем они. А потом отец как-то взял меня с собой в поле и показал, как мерит землю: верёвка, узлы, колышки, длина, ширина, умножить, поделить. «Видишь? — сказал он. — Это поле Ур-Энлиля. На табличке написано — столько-то. А на самом деле меньше. Кто-то ошибся. Или кто-то соврал. Если не умеешь считать, не узнаешь кто». С тех пор я полюбил математику — не сильно, но полюбил.

А потом мы начали писать образцы документов — договоры, расписки, судебные решения: «Такой-то купил у такого-то раба за столько-то шекелей серебра. Свидетели такие-то. Месяц такой-то, год такой-то». Писец, который не умеет составить договор, говорил умиа, не писец, а переписчик. Переписчик повторяет, а писец решает, как будет записано.

* * *

Спорить в эдуббе разрешалось, больше того — это было частью учения. Писец, говорил умиа, должен уметь не только писать, но и говорить — в суде, в храме, во дворце: убеждать, отвечать на обвинения и говорить царю правду так, чтобы царь не велел отрубить ему голову. Поэтому иногда учитель устраивал состязания: двое учеников выходили на середину двора и ругали друг друга.

Правила были простые: не драться, не плеваться, не повторяться и не молчать дольше, чем нужно, чтобы вдохнуть. Кто первым замолчит или повторится, тот проиграл, а кто полезет драться, получит десять палок и тоже проиграл.

Ругались мы, конечно, по-шумерски, и это было важно. Дома многие из нас говорили по-аккадски, на языке северян, на котором говорят в Аккаде, Кише и Эшнунне, а теперь и в Уре, особенно на рынке; аккадский проще. Но в эдуббе — только шумерский, язык богов, храмов и древних царей. Умиа говорил, что настоящий писец думает по-шумерски, даже когда говорит по-аккадски. «Писец, который не знает шумерского, — что это за писец?» — эту фразу мы в первый год переписали раз сто.

Эти состязания я одновременно ненавидел и обожал. Ненавидел потому, что перед каждым у меня тряслись колени, потели ладони и пересыхало во рту. А обожал потому, что, когда всё начиналось, это проходило, и в груди поднималось что-то горячее и весёлое, как пиво на празднике. Слова приходили сами, неизвестно откуда, выскакивали из меня, как рыбы из воды, и я только успевал их ловить.

* * *

В тот день против меня поставили Нигир-шагу. Мы оба знали, что так и будет, да и все знали: ученики шептались об этом уже неделю.

Нигир-шага был сыном старшего писца храма Нанны Лу-Нанны — да, его отца звали так же, как меня, это обычное в Уре имя. Таблички у него были лучшие, из отборной, трижды просеянной глины, гладкие, как кожа младенца, палочки лучшие, из тростника с берегов священного канала, срезанные под правильным углом мастером, который делал палочки только для храма, одежда лучшая, белая льняная и всегда чистая. В школу за ним ходил раб, который носил его сумку и до вечера ждал у ворот.

Писал он, честно говоря, хорошо — красиво и ровно, будто клинья сами вставали на глину. Знаков он знал больше, чем я, задачи решал быстрее, и умиа ставил его в пример: «Смотрите, как пишет Нигир-шага. Вот так должен писать писец». Но он был трусом, хвастуном и ябедой, и это знали все. Когда в прошлом году Лу-Шульги, сын пивовара, принёс в школу кувшинчик отцовского пива и мы распили его за стеной, кто рассказал умиа? Нигир-шага. Когда Лугаль-иту прогулял полдня, чтобы посмотреть на дочь пекаря, кто рассказал? Нигир-шага. Когда я подложил дохлую мышь в сумку его раба, кто рассказал? Тут, допустим, рассказывать было не нужно, все и так видели, но Нигир-шага всё равно рассказал.

Мы вышли на середину двора. Ученики расселись кругом — на скамьях, на полу, на краю ямы для глины, — малыши в первом ряду, разинув рты. Умиа устроился в тени на своём табурете, Ур-Шульпаэ встал рядом с палкой на всякий случай, Лугаль-иту подкрутил усы.

— Начинай, — сказал умиа Нигир-шаге.

Нигир-шага выпрямился, отряхнул белую рубаху, посмотрел на меня сверху вниз — он был выше меня на полголовы — и заговорил громко и нараспев, как жрец на празднике:

— Ты, сын землемера! Ты, который измеряет чужие поля, потому что своих у него нет! Ты пишешь, как курица, которая наступила в грязь! Ты даже своё имя не можешь написать без ошибок! Твои клинья — как зубы у старой собаки: кривые, редкие и жёлтые! Ты пришёл в эдуббу с пустыми руками и уйдёшь с пустой головой! Когда ты станешь писцом — если станешь! — тебя поставят считать овец, и ты собьёшься на третьей!

Ученики засвистели. Начало было хорошее, я это понимал, особенно про овец. Он тогда не знал, как близко попал, да и никто не знал.

Я, как учил умиа, выдержал паузу, вдохнул и посмотрел на Нигир-шагу — на его белую рубаху, на кольцо на пальце, на раба у ворот.

— Ты, — сказал я. — Ты, сын храмового писца. Ты носишь кольцо, которое купил тебе отец, потому что сам ты не заработаешь даже на колечко из тростника. Ты ходишь в школу с рабом, потому что боишься нести свою сумку сам — вдруг она тяжёлая, вдруг ты надорвёшься? Ты пишешь красиво — да. Как красиво кричит осёл, когда его ведут на бойню. Громко, звонко, и всё без толку. Ты знаешь шестьсот знаков, но ни одной мысли. Когда ты считаешь ячмень, ты считаешь его так долго, что ячмень успевает прорасти, заколоситься и сгнить!

Свист стал громче, кто-то крикнул: «Ещё!», малыши в первом ряду визжали. Нигир-шага покраснел — сначала уши, потом щёки, потом шея.

— Ты хвастаешься, что видишь то, чего другие не видят! — закричал он. — Да, ты видишь — обезьян! Потому что ты сам обезьяна! Твоя мать — обезьяна, твой отец — обезьяна, твой дом — клетка, и если бы у тебя была сестра…

— Повторяешься, — сказал умиа из тени. — Обезьяна уже была. Два года назад. В первый же день.

Ученики заржали. Нигир-шага открыл рот и закрыл.

Это был мой момент, и я почувствовал его, как пловец чувствует, что течение повернуло в его сторону. Горячее и весёлое поднялось в груди, и я пошёл вперёд.

— Ты, — сказал я, — знаешь, почему у тебя самые лучшие таблички? Потому что твой отец ворует глину из храма! Знаешь, почему у тебя самые лучшие палочки? Потому что твой отец ворует тростник у храма! Знаешь, почему ты так красиво пишешь? Потому что твой отец пишет за тебя по ночам! Он сидит над твоими табличками до рассвета, а ты спишь, обняв своё кольцо! Когда ты станешь писцом, ты будешь стоять перед правителем, и он спросит тебя: «Сколько будет тридцать гур ячменя и ещё двенадцать?» А ты побежишь домой, к папочке! А папочки дома не будет — он будет в храме, воровать глину!

Теперь ржали все. Даже Лугаль-иту отвернулся, пряча лицо в ладонях, даже Ур-Шульпаэ улыбнулся своими маленькими добрыми глазами, а малыши катались по полу.

Нигир-шага стоял посреди двора и смотрел на меня, и в глазах у него была не злость, а что-то другое, чего я тогда не понял, — страх, наверное, или обида, такая глубокая, что словами её не вытащишь. Он молчал.

— Хватит, — сказал умиа. — Нигир-шага, тебе есть что ответить?

Нигир-шага молчал.

— Тогда выиграл Лу-Нанна. Все — по местам.

* * *

Я сел на скамью, и один сосед ткнул меня локтем, а другой хлопнул по спине. Лу-Шульги сунул мне в руку медовый пряник — где он его взял, не знаю, наверное, стащил у Ур-Шульпаэ. Малыши смотрели на меня, как на героя из песен, как на Гильгамеша, победившего в кедровом лесу чудовище Хуваву. Целый день я был героем.

Нигир-шага сидел через одного человека от меня и писал — с прямой спиной и каменным лицом, палочка двигалась ровно, клинья вставали на глину, как солдаты в строю, — и до вечера ни разу не поднял головы.

* * *

А вечером, когда я шёл домой, он догнал меня на улице у храма. Он был один, без раба, и это меня удивило: без раба я его никогда не видел. Он шёл быстро, почти бежал, и остановился передо мной, тяжело дыша.

— Мой отец не ворует, — сказал он тихо.

— Я знаю, — сказал я. — Это же состязание.

— Мой отец не пишет за меня. Я сам. Я пишу до ночи. Каждый день. Потому что если я не буду лучшим, он… — Нигир-шага замолчал.

Он стоял передо мной в своей белой рубахе, и я вдруг увидел, что ворот у неё сбился набок, а под воротом, на шее, — свежая полоса, красная и вздувшаяся, как от верёвки или ремня. И рядом ещё одна, старая, побелевшая.

Я не знал, что сказать, и ничего не сказал. Нигир-шага поправил ворот, посмотрел на меня, повернулся и быстро, не оглядываясь, ушёл в сторону храма.

Я стоял на улице и смотрел ему вслед. Мимо шли люди — водонос с мешками, женщина с корзиной лука, двое пьяных, собака, — и никто не обращал на меня внимания. Я думал о своём отце, который снял с пальца кольцо, носимое двадцать лет, и отдал учителю, чтобы

тот меня хвалил. И об отце Нигир-шаги, который, наверное, тоже хотел, чтобы сына хвалили, только по-другому.

* * *

Дома меня уже ждал отец: кто-то из соседских мальчишек успел рассказать ему про состязание — новости в Уре бегут быстрее воды по каналам. Он сидел во дворе на низкой скамье, а мать стояла у очага и делала вид, что очень занята горшками.

— Сядь, — сказал отец.

Я сел.

— Ты опозорил сына храмового писца.

— Это было состязание. Умиа сам велел.

— Умиа велел ругаться. Он не велел оскорблять отца мальчика. — Отец вздохнул. — Ты знаешь, кто такой Лу-Нанна, отец Нигир-шаги?

— Старший писец храма Нанны.

— Да. А ты знаешь, кто решает, кого из учеников эдуббы возьмут писцом в храм? Кого — во дворец? Кого — в провинцию? Кого — в Пузриш-Даган считать овец?

Я молчал.

— Он, — сказал отец. — И ещё несколько человек. Но он в первую очередь.

— Я не знал.

— Теперь знаешь. — Отец помолчал. — Ты думаешь, слово — это просто звук? Слово — это клин. Написал — не сотрёшь. Сказал — не вернёшь.

— Таблички можно стереть, — сказал я. — Пока глина мокрая.

— Вот именно, — сказал отец. — Пока мокрая. Но люди сохнут быстрее глины.

Он встал и ушёл в дом. Мать подошла, молча погладила меня по голове и поставила передо мной миску похлёбки. Я не ел.

* * *

Я долго сидел на крыше и думал о полосах на шее у Нигир-шаги, старой, побелевшей, и новой, свежей, — и сколько их там ещё, под белой рубахой? У меня был отец, который отдал своё кольцо учителю, а у него — отец, который бьёт его ремнём, чтобы он был лучшим. И я впервые подумал, что слово и правда может быть оружием, только не знал тогда, против кого оно обернётся.

Я вспоминал, как смеялись ученики, как я радовался и как Лу-Шульги сунул мне пряник. Всё это было про Нигир-шагу. А вечером он придёт домой, и отец спросит его: «Как прошло состязание?» И кто-нибудь из соседей обязательно расскажет — так же, как рассказали моему отцу. И что тогда?

Я не спал полночи.

* * *

На следующий день я пришёл в школу раньше всех, даже раньше Ур-Шульпаэ, сел на скамью и стал ждать. Нигир-шага пришёл, как обычно, с рабом, в белой рубахе, с кольцом и с воротом, застёгнутым до самого подбородка, прошёл мимо меня, не глядя, и сел на своё место.

Я встал, подошёл к нему и протянул горсть фиников с нашей пальмы, мелких и жёстких. Я набрал их утром из материнского кувшина, пока она не видела. То есть, конечно, она видела.

— Это не за отца, — сказал я. — Это просто так.

Он долго смотрел то на финики, то на меня, потом взял один.

— Они кислые, — сказал он, разжевав.

— Сам ты кислый.

Он улыбнулся — первый раз за два года.

Друзьями мы не стали. Но перестали быть врагами, а в эдуббе это почти одно и то же.

* * *

Через неделю умиа устроил новое состязание и поставил Нигир-шагу против Лу-Шульги. Нигир-шага выиграл легко, красиво и изящно, а Лу-Шульги сбился на третьей фразе и стал хохотать сам над собой. Отца его Нигир-шага не тронул ни разу. Он ругал только самого Лу-Шульги — его липкие пальцы, толстый живот и плохие таблички, — смешно и не обидно, и Лу-Шульги хохотал громче всех.

Когда состязание кончилось, Нигир-шага прошёл мимо меня и, не останавливаясь, сказал:

— Видишь? Можно и без отцов.

Я кивнул. С тех пор я тоже никогда не трогал чужих отцов — ни в эдуббе, ни во дворце, ни в жизни. Почти никогда.

Глава 4. Царь женится

Ур, весна, около 2035 года до н. э.

Акити, весенний праздник Нового года, в Уре праздновали так, что потом полгода вспоминали. Готовиться начинали за месяц: жрецы белили храмы, пивовары варили столько пива, что весь город пах солодом, а на рынке дорожало всё, от мяса до лент. Бога Нанну вывозили в священной лодке из храма за город, в Дом Акити, а через несколько дней с музыкой везли обратно, и это значило, что бог вернулся домой, год начался и всё будет хорошо. А в последнюю ночь праздника царь женился.

* * *

В тот год мне было двенадцать, и я впервые шёл на праздник не держась за руку матери, а сам. Ну, не совсем сам — с отцом и матерью, но впереди них, и это было важно.

Город проснулся ещё ночью: сквозь сон я слышал топот и смех на улице — люди шли к зиккурату. Зиккурат, ступенчатую кирпичную гору, построенную дедом нынешнего царя, великим Ур-Намму, было видно с полей, с реки и, говорят, даже с моря. На вершине его стоял храм нашего бога Нанны, облицованный синей глазурью, и на солнце он горел, как упавший на землю кусок неба. Подниматься к нему по ста ступеням можно было только босиком.

* * *

Мы стояли в толпе на площади перед храмовым кварталом, и меня толкали со всех сторон. Пахло потом, пивом, жареным мясом, благовониями и навозом, потому что по главной улице гнали жертвенный скот: белых быков с позолоченными рогами и гирляндами на шеях, а за ними овец, таким плотным потоком, что отдельной овцы не разглядишь, одна шерсть. Тогда мне подумалось, что в мире, наверное, не осталось больше ни одной овцы — все пришли в Ур.

Я, конечно, ошибался. Через несколько лет я узнал, что каждого из этих быков и каждую овцу кто-то посчитал, записал, пометил, отправил и принял по табличке, что пришли они из Пузриш-Дагана, огромного загона под Ниппуром, куда стекался скот со всей страны, что на каждой стояло клеймо и за каждую кто-то отвечал головой. Но тогда я просто смотрел, разинув рот.

Люди стояли вдоль улицы, сидели на крышах и на плечах у отцов, женщины в лучших платьях, мужчины с бородами, блестящими от масла. Нищим у храмовых ворот в этот день подавали щедро: в этот день всем было хорошо. Торговцы протискивались сквозь толпу с лотками на головах — жареная саранча, лепёшки с кунжутом, медовые пряники в форме луны и быка. Отец купил мне быка, и я откусил ему рога.

— Смотри! — крикнула мать. — Лодка!

По каналу вдоль главной улицы жрецы тянули на верёвках священную лодку бога Нанны, с высоким золотым носом в форме рогатой луны и синим шатром, расшитым серебряными звёздами. В шатре, невидимый для толпы, сидел бог. Не настоящий, конечно, а статуя, но для нас это было одно и то же. Статую вырезали из драгоценного дерева, покрыли золотом и вставили ей глаза из лазурита и раковин; каждое утро жрецы её умывали, одевали и кормили, а каждый вечер раздевали и укладывали спать. В статуе жил бог, и пока статуя в храме, бог в городе, а пока бог в городе, жив и город.

Когда лодка проплывала мимо, толпа замолчала и все склонили головы. Я тоже склонил, но краем глаза смотрел, и мне показалось, что синяя ткань шатра шевельнулась.

* * *

Потом загремели огромные, в рост человека, барабаны — по каждому били двое, и что-то дрожало внутри живота, — захрипели, как ревущие быки, медные рога, и из ворот дворца вышла процессия.

Первыми шли жрецы с кадильницами, от которых тянуло сладким дымом кедра и мирры, за ними певцы-гала тянули гимн на таком древнем шумерском, что я не понимал ни слова, а за ними шли музыканты с лирами, украшенными бычьими головами с синими лазуритовыми бородами. Бородатые быки показались мне очень смешными; потом я узнал, что смеяться над ними нельзя. Дальше шла стража с копьями, качавшимися все разом, как тростник под ветром, а за стражей несли носилки.

Восемь человек несли носилки чёрного дерева с подлокотниками в виде львиных лап, под навесом из пурпурной ткани с золотой бахромой, а на носилках сидел человек в тяжёлой одежде с бахромой, в высокой шапке и с длинной завитой бородой.

— Царь, — прошептала мать. — Шу-Суэн.

Я подпрыгнул, чтобы лучше видеть, и отец поднял меня и посадил на плечи. Мне было двенадцать, и для этого я был уже большой, но в ту минуту мне было всё равно.

Царь оказался не таким, каким я его представлял. Я думал, что он будет огромный, как зиккурат, с глазами, сияющими, как два солнца, и что, увидев его, мне захочется упасть на колени. А он был обычный: немолодой, лет сорока, а может, и больше, немного полный, с усталым лицом и мешками под глазами, как у человека, который плохо спит. Длинная борода, завитая колечками и умащённая маслом, блестела на солнце. Он сидел на носилках так прямо, будто его привязали к спинке, и смотрел поверх голов — ни на кого и никуда.

— Это бог? — спросил я отца.

— Его так называют, — ответил отец. — «Бог страны». Его имя пишут со знаком бога. Видел на табличках?

Я видел. Перед именами царей Ура писали маленькую звёздочку, знак «дингир», «бог», — тот же, что перед именами Нанны, Энлиля и Инанны. Это значило, что царь не просто человек, а стоит где-то между нами и небом, что ему ставят статуи в храмах и приносят жертвы, как богам, и что люди называют детей его именем: «Шу-Суэн — мой бог», «Шу-Суэн — мой покровитель».

— А он ест? — спросил я.

Отец усмехнулся.

— Ест. И пьёт. И спит. И сегодня ночью женится.

— Он ещё не женат?

— Женат. У него много жён. Но сегодня особенная свадьба. Сегодня он женится на богине.

— На какой?

— На Инанне.

Я не понял. Богиня Инанна живёт на небе, она утренняя и вечерняя звезда, богиня любви и войны. Как на ней можно жениться?

— Через женщину, — сказал отец, увидев моё лицо. — Есть женщина, в которую богиня входит на эту ночь. Через неё царь и богиня соединяются. И от этого урожай, приплод, вода в каналах, счастье в стране.

— А кто эта женщина?

— Это знают во дворце, — сказал отец. — Нам не положено.

Носилки проплыли мимо. Толпа кричала, бросала цветы и тянула руки, а царь не повернул головы и никого не видел. Но мне показалось — может быть, просто блеснуло солнце, — что, проезжая мимо меня, он чуть-чуть, совсем чуть-чуть улыбнулся.

Рядом с нами стоял человек в запылённом плаще, по виду караванщик из тех, что ходят на восток, за Тигр. Пока толпа кричала, он вполголоса рассказывал что-то соседу, а я сидел у отца на плечах как раз над его головой и слышал каждое слово.

— …а в горах за Аншаном теперь новый вождь. Молодой. Киндатту зовут. Говорят, великий Шульги когда-то сжёг его город и увёл в Ур его деда. И будто этот Киндатту поклялся богами своих гор, что напоит коня из Евфрата у самых стен Ура.

— Пусть сначала перейдёт Тигр, — засмеялся сосед. — Пусть сначала научится ездить на коне.

Отец обернулся на них, нахмурился, поправил меня на плечах и сказал:

— Смотри на царя.

Я смотрел на царя, а про коня забыл в тот же вечер. Вспомнил я о нём через тридцать лет, когда увидел со стены его костры.

* * *

Это место я восстанавливаю по рассказам. Меня там не было и быть не могло. Но много лет спустя одна женщина рассказала мне, как всё случилось, и я записываю так, как она говорила.

* * *

Кубатум стояла у окна в верхних покоях дворца и смотрела, как солнце садится в реку. Сквозь деревянную решётку узкого высокого окна был виден Евфрат, широкий, медленный и бурый, с золотой дорожкой от заходящего солнца. По реке плыли сотни лодок, украшенных цветами и лентами, с лодок доносилась музыка, на берегу горели костры. Город праздновал.

На ней было платье из шерсти такой тонкой, что его можно было свернуть и спрятать в ладони; говорили, что его соткали лучшие ткачихи храмовых мастерских в Гирсу. Оно было цвета граната, тёмно-красное и глубокое, с лиловым отливом на свету. Краску делали из каких-то жуков, которых собирали на дубах в горах, — тысячи жуков на одно платье, и Кубатум старалась об этом не думать.

На шее у неё висело ожерелье длиной в две ладони: двадцать длинных красно-оранжевых сердоликовых бусин с белыми полосками, привезённых из-за моря, из страны Мелухха, двадцать круглых гладких золотых, которые сделали мастера в Уре из золота с восточных гор, а между ними маленькие лазуритовые бусинки, синие, как ночное небо. Каждую бусину сверлили тонким бронзовым сверлом, вращая его луком, по бусине в день. Самая крупная была из полосатого агата, и на ней была процарапана резцом крошечная тонкая надпись. Кубатум не умела читать, но знала, что там написано, — ей сказали: «Кубатум, лукур Шу-Суэна».

Ожерелье подарил ей царь сегодня утром — вместе с маленьким кольцом и словами, которые она не решалась повторить даже про себя.

* * *

Кубатум было двадцать два года, и она была лукур царя. Слово «лукур» трудно перевести: это и жрица, и жена, и не совсем жена. Лукур посвящались богам, жили при храме или при дворце, и рожать детей от простых смертных им запрещалось: они были невестами богов. Но царь не простой смертный, царь — бог, и царская лукур принадлежит ему так же, как храм принадлежит богу.

Во дворец её взяли пять лет назад. Отец её был мелким чиновником, писцом при царских складах, не богатым и не знатным. Но однажды царь, тогда ещё не царь, а брат царя, проезжал мимо складов, увидел во дворе девушку, которая пела, развешивая бельё, остановил колесницу и слушал, пока она не допела. Через месяц за ней пришли из дворца. Отец плакал от счастья, мать от страха, а Кубатум не плакала: она шла во дворец, как идут в воду, не зная, глубоко ли и умеешь ли плыть, но понимая, что назад уже нельзя.

Первые годы были тяжёлыми. Во дворце было много женщин: жёны царя, знатные, из старых семей Ура, Ниппура и Урука, смотрели на неё сверху вниз, другие лукур завидовали, служанки шептались за спиной. Мать царя, вдова великого Шульги, старая властная женщина, всё ещё державшая в руках полдворца, однажды встретила её в коридоре и долго разглядывала,

как разглядывают на рынке козу, которую собираются купить. Потом сказала: «Красивая. Поёт, говорят. Посмотрим, долго ли» — и ушла.

Но царь её любил, и это знали все. Он звал её почти каждый вечер, слушал, как она поёт, и рассказывал ей о своих делах — о войне на востоке, о стене против марту, о спорах с жрецами. В войнах и стенах она ничего не понимала, но слушала, и он говорил, что, когда она слушает, ему становится легче. А когда старый царь умер — от скорпиона, говорили, или от плохой обуви, или от проклятия, никто точно не знал — и брат его стал царём, Кубатум стала его главной лукур. И сегодня ночью ей предстояло быть Инанной.

* * *

Дверь открылась, и вошла старая служанка Нин-ди, маленькая, сгорбленная, с морщинистым лицом и острыми глазами. Она служила Кубатум с первого дня во дворце и была единственной, кому Кубатум доверяла.

— Пора, госпожа. Он ждёт.

Кубатум кивнула, поправила ожерелье и посмотрелась в круглое, отполированное до блеска бронзовое зеркало. Лицо в нём было бледное, огромные глаза подведены сурьмой, а губы накрашены красным — краской из того же сердолика, растёртого в порошок.

— Я боюсь, — сказала она.

— Все боятся, — сказала Нин-ди. — Богиня тоже боится. Ты думаешь, Инанне было не страшно, когда она спускалась в подземный мир? Страшно. А она всё равно пошла.

— И её там убили.

— И она вернулась, — сказала Нин-ди. — Иди. Ты вернёшься.

Кубатум вдохнула и пошла.

* * *

Коридоры дворца освещали масляные светильники в нишах, и свет и тени дрожали. На стенах висели ковры с узорами, охотами, битвами и пирами. Где-то далеко жрецы в храме Нанны начали ночной гимн, в городе тоже пели, смеялись и кричали, и всё это сливалось в один гул, похожий на шум моря.

Кубатум шла и повторяла про себя песню, которую сочинила для царя. Сочинила её не жрецы и не придворные поэты, а она сама: три недели подбирала слова, как ювелир подбирает бусины — одно сердолик, другое золото, третье лазурит, чтобы каждое было на своём месте и ни одно не выпало.

По узкой лестнице она поднялась на крышу. Шу-Суэн ждал её в маленьком покое на крыше дворца, куда не было входа никому, кроме него самого, жрецов и тех, кого он позовёт. С одной стороны покой был открыт небу. Там стояло ложе, покрытое шерстью и льном, вокруг него горшки с цветами и ветками кедра, курились кедровые палочки, а на низком столике стояли кувшин с вином, чаши, блюдо с финиками и мёдом, сыр и гранаты. Над головой было только огромное тёмно-синее небо с тысячами звёзд и луна — серебряная лодка бога Нанны.

Царь сидел на ложе без высокой шапки и тяжёлого облачения, в простой белой рубахе, и совсем не был похож на бога. Он был похож на уставшего мужчину, который весь день просидел на носилках, улыбаясь толпе и слушая жрецов.

— Ты пришла, — сказал он.

— Я пришла, мой господин.

— Не называй меня так сегодня. Сегодня я не господин. Сегодня я Думузи-пастух, а ты — Инанна. Помнишь?

— Помню.

Думузи — пастух из древних песен, жених богини Инанны. О них пели на всех свадьбах, от бедняцких до царских: как Инанна выбирала между пастухом, приносившим ей молоко и сливки, и земледельцем, приносившим зерно и пиво, как её брат, бог солнца Уту, уговаривал её выбрать земледельца, а она выбрала пастуха, как мать не хотела отпускать её из дома и

как пастух ждал у дверей с молоком и сливками, а она купалась, умащалась маслом, надевала лучшие одежды и украшения и выходила к нему. А потом, много позже, Думузи погиб — демоны утащили его в подземный мир вместо Инанны. Но об этом на свадьбах не пели.

— Ты что-то принесла, — сказал царь. — Я вижу по твоим глазам.

— Песню.

— Спой.

* * *

Кубатум села у его ног на ковёр, посмотрела на луну и запела.

Сначала голос дрожал, она это чувствовала и злилась на себя, отчего он дрожал ещё сильнее. А потом — она и сама не поняла как — голос окреп, будто кто-то встал рядом и положил руку ей на плечо: может быть, Инанна, может быть, Нин-ди, а может быть, просто ночь.

Она пела о том, что её жених — мёд, что она не может им насытиться, что его красота сладка, как мёд, и она хочет пить её, как пьют пиво из чана, что она приготовит ему ложе, будет ждать его и встретит в дверях. Пела, что он её лев, её господин и её радость, что его мать даст ей подарки, а отец — богатство, и что ожерелье, которое он ей дал, она носит у самого сердца. Пела, что он пастух её сердца, а она будет его овцой, его тёлкой, его полем, которое он вспашет, его садом, где растут яблони и гранаты. А в самом конце тихо, почти шёпотом, спела, что он должен прийти к ней — к ней одной, не глядя на других.

И замолчала.

* * *

Шу-Суэн молчал так долго, что ей стало страшно. Она сидела у его ног, смотрела на узор из ромбов и звёзд на ковре и не смела поднять глаза. Может быть, она сказала что-то не то? Может быть, «не глядя на других» — это слишком, царь рассердится, и завтра же её выгонят из дворца, и она вернётся к отцу, к складам и белью во дворе?

Потом он протянул руку и коснулся её щеки. Рука была тёплая и сухая, с мозолями от поводьев.

— Её запишут, — сказал он. — Твою песню. Её будут петь, когда нас с тобой уже не будет.

Кубатум подняла глаза.

— Кто её запишет?

— Писцы. Я велю. Завтра же, на хорошей глине. И перепишут много раз, и будут переписывать в школах. Через тысячу лет люди будут читать её и думать: вот как любили при Шу-Суэне.

Кубатум засмеялась: ей показалось, что это шутка. Кто станет читать песни через тысячу лет? Тысяча лет — это даже больше, чем прошло с тех пор, как боги создали мир; так ей говорили в детстве.

— Ты смеёшься, — сказал царь. — А я серьёзно.

— Ты всегда серьёзный, — сказала она. — Даже когда шутишь.

Он засмеялся — впервые за весь день, неожиданным, молодым, хрипловатым, совсем не царским смехом.

— Иди сюда, — сказал он. — Инанна.

* * *

А песню и правда записали, аккуратными клиньями, на маленькой глиняной табличке. Через много лет я сам держал в руках одну из копий, потрёпанную, с отбитым углом и почти стёршейся последней строкой. Но я её разобрал.

* * *

На площади в ту ночь пили до рассвета. Отец напился финикового пива — так много он на моих глазах никогда не пил — и громко и фальшиво пел песню про пастуха и земледельца, размахивая руками. Это был тот же человек, который вчера молча сидел на крыше и смотрел на

закат, и я его не узнавал. Мать смеялась, держась за живот, и тащила его домой, а он упирался и пел дальше.

— Дай ему, — сказала мне мать. — Пусть попоёт. Раз в год можно.

Я сидел на ступенях храмового квартала, жевал пряник и смотрел на огни на крыше дворца. Высоко наверху горел маленький светильник, один-единственный: все остальные окна дворца были тёмными, а этот горел. Я думал, что там сидит царь и смотрит на нас — на меня, на город, на огни и на реку, — и на всякий случай помахал ему рукой. Светильник не ответил, но и не погас.

Домой я ушёл под утро, когда небо на востоке посерело, а луна стала бледной, как рыбья чешуя. Отец спал прямо во дворе на циновке и улыбался во сне, а мать сидела рядом и смотрела на него.

— Он раньше был весёлый, — сказала она мне. — Когда мы были молодыми. Он пел всё время. Потом перестал.

— Почему?

— Не знаю, — сказала мать. — Жизнь. Работа. Поля. Таблички. — Она погладила отца по волосам. — Раз в год он вспоминает.

Я лёг рядом с отцом на циновку и уснул под пение птиц.

Глава 5. Смерть на канале

Гирсу, лето 2035 года до н. э.

Лу-Баба не вернулся до разлива.

Сначала приходили вести. Их приносили люди, возвращавшиеся с канала, — больные, раненые, отпущенные, — гонцы, вёзшие таблички в храм, и лодочники, которые возили на канал ячмень и масло, а обратно привозили вести, как привозят рыбу. Весной вести были хорошие: Лу-Баба жив, здоров, работает. Канал занесло хуже, чем думали, местами ил лежал выше человеческого роста, но работа идёт. Надсмотрщики злые, но кормят; пиво дают, правда, не каждый день, лук дают, а рыбы нет. Геме-Нанше выслушивала эти вести у ворот, кивала, шла в мастерскую, садилась к станку и ткала, гоняя челнок туда-сюда.

Потом начались болезни, и вести стали другими. На канале люди кашляют и маются животом. Вода в канале стоячая, тухлая, пить её нельзя, а другой нет. Людей кусают какие-то мошки, после которых трясёт, как в лихорадке. Двое из Гирсу умерли, потом ещё трое.

— Лу-Баба? — спрашивала Геме-Нанше у каждого, кто приходил с канала.

— Жив, — отвечали ей. — Видели вчера. Кашляет, но работает.

— Кашляет?

— Все кашляют.

А потом вести перестали приходить совсем — неделю, две, три. Геме-Нанше перестала спать. По ночам она лежала на циновке и слушала тишину. Храпа не было, и тишина давила на уши, как вода, когда ныряешь глубоко. Она вставала, выходила во двор, садилась у очага и смотрела на угли. Нинтур просыпалась, выходила к ней и садилась рядом.

— Мама, ты чего?

— Ничего. Иди спать.

— А ты?

— И я пойду.

И не шла.

* * *

А потом, в самый разгар жары, когда в Гирсу даже собаки лежали в тени и не лаяли, воздух над крышами дрожал, как над костром, а вода в каналах стала тёплой, как молоко, в мастерскую пришёл писец.

Не тот, молодой, с острым носом и мышиными ушами, а другой — пожилой, полный, с медленными движениями и усталым лицом. Ткачихи поднимали головы от станков и провожали его глазами: писец в мастерской посреди дня всегда что-то значил, и обычно плохое. Он подошёл к надсмотрщику Ур-Игалиме, дремавшему в тени под навесом, разбудил его, и они долго говорили вполголоса. Писец достал и показал табличку, и Ур-Игалима, хоть и не умел читать, внимательно смотрел на неё и кивал. Потом он повернулся и посмотрел через весь двор на Геме-Нанше.

И она поняла — раньше, чем он подошёл. Поняла по его лицу, которое вдруг стало не ленивым, а растерянным, по тому, как он отвёл глаза, по тому, как старая Нин-лагаль у соседнего станка вдруг перестала стучать планкой и как замолчали одна за другой все ткачихи вокруг, будто тишина расходилась кругами, как от камня, брошенного в воду.

Ур-Игалима медленно и тяжело шёл к ней, и три подбородка у него дрожали.

— Геме-Нанше, — сказал он.

Она не ответила. Она смотрела на сотни нитей основы перед собой, натянутых, как струны.

— Лу-Баба, — сказал Ур-Игалима. — Твой муж.

— Что?

— Он «ба-уш». — Ур-Игалима произнёс это слово так, как произносят его писцы, коротко и сухо, как стук клина о глину.

«Ба-уш» значит «умер». На табличках это пишется двумя знаками рядом с именем, и места они занимают меньше, чем ноготь мизинца.

Геме-Нанше не закричала. Она аккуратно положила челнок на землю рядом со станком, встала, отряхнула юбку от ворсинок шерсти — она всегда была в ворсинках — и посмотрела на Ур-Игалиму.

— Спасибо, — сказала она, повернулась и пошла к воротам.

Привратник хотел её остановить — до конца работы было ещё далеко, а уходить без разрешения не полагалось, — но Ур-Игалима махнул ему рукой: пусти. Нин-лагаль бросила свой станок и пошла за ней. А Шешкалла, игравший у ворот с другими детьми ткачих — детей брали с собой, оставить их было не с кем, — увидел мать и побежал следом.

— Мама! Мама! А что такое «ба-уш»?

Он слышал, что сказал надсмотрщик. Дети всё слышат.

Геме-Нанше не ответила.

* * *

Дома она села на порог и просидела так до вечера, не двигаясь и не говоря ни слова, глядя на стену соседнего дома напротив и на трещину в ней, похожую на реку на карте. Шешкалла сидел рядом и держал её за юбку. Он не понимал, что случилось, но чувствовал, что что-то страшное, и не отпускал.

Нинтур вернулась с канала с кувшином воды, увидела мать на пороге и плачущую рядом Нин-лагаль, поставила кувшин и ничего не спросила. Ей было восемь, но она была старше своих лет, может быть, старше матери, и поняла всё раньше брата. Она молча прошла во двор, разожгла очаг, сварила кашу, налила в миску и поставила перед матерью. Геме-Нанше не ела.

Соседки приходили одна за другой — ткачихи, пряхи, жёны носильщиков и рыбаков. Они садились рядом на порог, на землю, на корточки, держали её за руки, гладили по плечу, плакали и говорили, что он был хороший и сильный, что он так смеялся, что он никогда не бил жену, а это редкость, что боги взяли лучшего, что так бывает и надо жить ради детей. Геме-Нанше слушала, кивала и не плакала.

Разошлись соседки поздно, когда совсем стемнело. Нин-лагаль ушла последней. Она обняла Геме-Нанше и сказала ей на ухо:

— Покричи. Тебе надо покричать. Иначе сердце разорвётся.

— Потом, — сказала Геме-Нанше.

* * *

Ночью она вышла на улицу и наконец закричала. Кричать она не собиралась — просто вышла подышать, посмотреть на звёзды, сама не зная зачем, встала посреди переулка и подняла голову. Над ней было огромное чёрное небо с тысячами звёзд — тех самых, на которые они смотрели с Лу-Бабой в тот вечер, когда он обещал принести рыбу. Вот такую. И крик вырвался сам.

Она кричала долго, раздирая на себе рубаху и царапая ногтями щёки, — так кричат женщины, когда умирает муж, так кричала её мать, когда умер отец, и бабка, когда умер дед, так кричали всегда. В этом крике было не только горе, но и порядок: мир рухнул, и женщина должна сообщить об этом всем — соседям, богам, мёртвым, — чтобы никто не мог сказать, что не слышал, и чтобы мёртвый, который идёт сейчас по тёмной дороге в подземный мир, услышал этот крик и понял, что его помнят и оплакивают и что он был.

В соседних домах открывались двери, выходили женщины, подходили к ней, становились рядом и тоже начинали кричать. Некоторые и не знали Лу-Бабу, но так было положено: когда кричит одна, кричат все, потому что каждая из них уже кричала так когда-то или ещё будет кричать. Над кварталом ткачих в ту ночь стоял вой, как над полем после битвы.

Под утро всё стихло, женщины разошлись, а Геме-Нанше вернулась в дом, легла рядом с детьми и наконец заплакала — тихо, чтобы их не разбудить.

* * *

Тела не привезли. Его похоронили там же, на канале, в общей яме вместе с другими. Тот самый полный пожилой писец сказал, что только из Гирсу их было семеро, а ещё двадцать из других мест, — двадцать семь человек в одной яме на берегу канала, на краю страны, у границы с Эламом. Сказал он это так, будто ей от этого должно было стать легче: вместе ведь не так страшно.

— Где эта яма? — спросила она.

Писец пожал плечами.

— Где-то на канале. Я не знаю точно. Там много ям.

— А кто знает?

— Надсмотрщик, наверное. Но он там, на канале. До осени не вернётся.

Больше она не спрашивала.

* * *

Через несколько дней Геме-Нанше пошла к жрецу-плакальщику. Плакальщиков у нас называют «гала». Они поют высоким, почти женским голосом на «тонком языке», на котором в песнях говорят богини, и знают, как проводить мёртвого, чтобы он не заблудился по дороге и не вернулся. Стоили гала дорого. Геме-Нанше отдала всё, что у неё было лишнего: два кувшина масла, отрез ткани, который ткала по ночам для себя, и медный браслет — тонкий, гладкий, с узором из точек, — который Лу-Баба подарил ей на свадьбу. Она носила его десять лет не снимая, и, когда сняла, на запястье осталась бледная полоса.

Жрец пришёл к ним во двор под вечер — высокий, худой, с бритой головой и длинным лицом, в длинной белой одежде, — а с ним мальчик с маленьким круглым барабаном, обтянутым кожей, «ли-ли-ис». Жрец сел посреди двора на землю, скрестив ноги, мальчик сел рядом и стал медленно и тихо бить в барабан, как бьётся сердце. И жрец запел.

Он пел о том, что человек уходит в страну без возврата, в дом тьмы, где живёт Эрешкигаль, царица подземного мира, сестра Инанны; что дорога туда длинная и тёмная, на ней семь ворот, и у каждых стоит страж, и каждый страж забирает у мёртвого что-нибудь — одежду, украшения, имя. Что в той стране едят глину и пьют пыль, все одеты в перья, как птицы, нет там ни света, ни воды, ни хлеба, и всегда тихо, и мёртвые сидят в темноте и ждут.

Чего ждут? — подумала Геме-Нанше.

Он пел о том, что Лу-Баба был хорошим мужем, кормил жену, растил детей, служил своему богу и своему царю; что он копал канал, чтобы вода шла на поля, чтобы рос ячмень и люди ели хлеб, и умер, отдав свою силу земле, и земля его приняла. Лу-Бабу он не знал и пел то, что пел всем. Но пел хорошо, высоким и чистым, как у женщины, голосом, и от этого голоса Геме-Нанше снова заплакала, впервые днём, при людях, а за ней заплакали дети и Нинлагаль, сидевшая у стены.

* * *

Когда жрец ушёл, к матери подошла Нинтур.

— Мама, — спросила она шёпотом. — А что он там будет есть? Если там только глина?

Геме-Нанше вытерла лицо.

— То, что мы ему дадим, — ответила она. — Каждый месяц ты будешь лить для него воду в землю. — Она взяла дочь за руку и подвела к углу двора, где не было ни очага, ни ступки, ни кувшинов, одна утоптанная голая земля. — Вот сюда. В этот угол. Здесь будет его место.

— Почему здесь?

— Потому что он любил здесь сидеть по вечерам. Ты не помнишь? Он садился здесь, спиной к стене, и чинил сандалии. Или вырезал лошадку для Шешкаллы.

Нинтур помнила. Она кивнула.

— И лить пиво, когда у нас будет пиво, — продолжала Геме-Нанше. — И класть хлеб, кусочек. Пока ты помнишь его имя и льёшь для него воду, он не голодный. Понимаешь? Вода проходит через землю туда, вниз, к нему. Он пьёт и знает, что мы его помним.

— А если я забуду?

— Тогда он будет бродить по земле и плакать, — сказала Геме-Нанше. — Призраки, которых не поят, приходят к живым. Стучат по ночам в двери, пугают детей, насылают болезни. Не потому что злые, а потому что голодные и одинокие. Поэтому не забывай.

— А Шешкалла?

— Шешкалла будет лить, когда подрастёт. А потом его дети. А потом их дети. Пока помнят.

— А если все забудут?

Геме-Нанше не ответила.

Нинтур серьёзно, как взрослая, кивнула, и с того дня каждое новолуние, когда бог Нанна, луна, уходит с неба, она брала маленький кувшин, выходила в угол двора и лила воду в землю, шепча:

— Лу-Баба, отец мой, пей.

Сухая земля впитывала воду мгновенно и жадно.

* * *

Через месяц к Геме-Нанше пришёл человек из храмового управления — маленький, кругленький, улыбчивый, с толстыми пальцами, унизанными кольцами. Он вошёл во двор без стука, оглядел очаг, ступку и угол, где Нинтур лила воду, и заулыбался ещё шире.

— Геме-Нанше, ткачиха? Вдова Лу-Бабы?

— Да.

— Я Лу-Шара, из управления храма Бау. Земли и наделы. — Он неглубоко поклонился. — Я пришёл выразить тебе соболезнования от имени храма. Лу-Баба был хорошим работником. Храм скорбит.

— Спасибо.

— И, разумеется, — продолжал Лу-Шара, не меняя улыбки, — я должен сообщить тебе о наделе. Надел Лу-Бабы, как ты знаешь, был дан ему храмом в пользование за службу. Земля даётся за службу. А служить больше некому. Поэтому надел, разумеется, теперь отойдёт другому работнику.

Геме-Нанше молчала и смотрела на его кольца — пять колец, серебряные, медные и одно с камнем.

— У него есть сын, — сказала она.

— Сыну четыре года.

— Пять. Скоро пять.

— Пять, — согласился улыбчивый. — Он вырастет и тогда получит землю. Если будет служить. Если храм сочтёт нужным. А пока земля отойдёт тому, кто может её обрабатывать.

— Я могу.

Лу-Шара засмеялся — не зло, а снисходительно, как смеются над ребёнком, сказавшим глупость.

— Ты ткачиха. У тебя станок. У тебя работа в мастерской. Женщинам надел не дают.

— Моя бабка обрабатывала землю. Она была вдова, и у неё был надел мужа, и она растила на нём ячмень, пока мой отец не вырос.

— Это было давно.

— Это было при моём рождении.

— Тогда были другие порядки, — сказал Лу-Шара, и улыбка его стала чуть-чуть тоньше. — Тогда Лагаш был другим. Теперь Лагаш принадлежит царю Ура, и порядки царские. По

табличкам. Всё записано. — Он развёл руками, звякнув кольцами. — Я тут ни при чём, ты понимаешь. Я только исполняю.

Он ещё раз поклонился и ушёл.

* * *

Геме-Нанше смотрела ему вслед. Нин-лагаль, которая теперь часто приходила по вечерам, принося то лепёшку, то горсть фиников, и всё это время стояла у ворот, подошла и тихо сказала:

— Не связывайся.

— Почему?

— Это Лу-Шара. Родственник управляющего землями — двоюродный брат его жены или что-то такое. Надел твоего мужа уже обещан его зятю. Я слышала ещё неделю назад. Ещё до того, как к тебе пришёл писец.

Геме-Нанше обернулась.

— Неделю назад?

— Ну да. Они узнали раньше тебя. Табличка пришла в управление, а уж потом писец пошёл к тебе.

— Значит, они знали, что он умер, раньше меня. И сразу начали делить его землю.

— Так всегда было.

— Значит, у меня отнимают землю, чтобы отдать её зятю родственника управляющего.

— Так всегда было, — повторила Нин-лагаль.

— А богиня Нанше? — спросила Геме-Нанше ровным голосом, но Нин-лагаль отступила на шаг. — Жрецы говорят, что она защищает вдов. Каждый год, на Новый год, они читают гимн, я слышала. «Нанше знает сироту, знает вдову. Она — мать сироты. Она — защитница вдовы». Это тоже «всегда было»?

Нин-лагаль долго молчала.

— Есть суд, — сказала она наконец. — Можно пойти в суд. Но я не знаю ни одной ткачихи, которая выиграла.

— Значит, я буду первой, — сказала Геме-Нанше.

* * *

Она вошла в дом. Дети спали: Шешкалла обнимал свою кривую лошадку, а Нинтур раскинула руки и что-то бормотала во сне. Геме-Нанше долго смотрела на них в темноте.

Потом достала из угла узелок с последним серебром, которое Лу-Баба копил на новую лопату. Старая треснула прошлой осенью, он чинил её верёвками, но она всё время разваливалась, и он полгода копил на новую, с медным наконечником, как у богатых. Она развязала узелок и пересчитала. Монет у нас нет, и серебро было просто обрезками проволоки, маленькими слитками и кусочками колец, а всё вместе весило меньше шекеля. Шекель — это вес примерно ста восьмидесяти ячменных зёрен, и на него можно купить гур ячменя, триста сила, или заплатить писцу, который составит жалобу.

Она завязала узелок и легла рядом с детьми.

— Нанше, — прошептала она в темноту. — Я не прошу у тебя ничего лишнего. Ни серебра, ни золота, ни нового мужа. Только то, что ты обещала. Ты — мать сироты. Вот они, сироты, двое. Посмотри на них. Ты — защитница вдовы. Вот она, вдова. Я. Защити.

Богиня не ответила. Но в ту ночь Геме-Нанше впервые за месяц уснула, и ей приснился Лу-Баба. Он стоял на берегу канала, огромного и бесконечного, как море, весь, с головы до ног, в иле, и держал в руках огромную рыбу. Вот такую. И улыбался.

Глава 6. Пузриш-Даган

Окрестности Ниппура, около 2032 года до н. э.

Мне было пятнадцать лет, когда я понял, что весь мир — это овцы. Причём не в переносном смысле, а в самом прямом.

* * *

Меня отправили туда после пяти лет в эдуббе. Пять лет — это немного: обычно учились по семь, восемь, десять лет, а сыновья знатных писцов учились до двадцати, а потом ещё у отцов. Но моему отцу нечем было платить за следующие пять лет. Кольцо он уже отдал, новую одежду тоже, а умиа, хоть и любил меня, даром не учил никого.

Однажды вечером умиа позвал меня в свою комнату, маленькую и тесную, до самого потолка заставленную корзинами с табличками. Он сидел на циновке и пил пиво через трубочку.

— Ты знаешь, что такое Пузриш-Даган? — спросил он.

— Нет, умиа.

— Это там, где овцы.

— Какие овцы?

— Все овцы, — сказал умиа. — Все овцы страны. Все быки, все козы, все ослы. Великий царь Шульги, да будет он вечно жив среди богов, построил его тридцать лет назад, недалеко от Ниппура. Туда приводят весь скот, который провинции отдают царю и богам. Каждый день тысячи голов, и каждую надо записать. А для этого нужны писцы, много писцов. Их всегда не хватает.

Я молчал.

— Отец Нигир-шаги, — продолжал умиа, — спросил меня, кого из моих учеников можно туда отправить. Я назвал тебя.

У меня похолодело внутри. Отец Нигир-шаги, старший писец храма, тот, кто решает. Я вспомнил, что говорил мне отец после состязания: «Ты знаешь, кто решает, кого куда отправят?»

— Это наказание? — спросил я.

Умиа посмотрел на меня поверх трубочки.

— Ты думаешь, это наказание?

— Я думаю… считать овец…

— Слушай меня, мальчик, — сказал умиа и отставил кувшин. — Нигир-шага пойдёт в храм. Будет переписывать гимны и составлять списки жертв. Красиво, чисто, скучно. Через двадцать лет он станет старшим писцом, как отец, и будет сидеть в той же комнате, на той же циновке и переписывать те же гимны. А ты пойдёшь в Пузриш-Даган. Там грязно, пыльно и воняет, и там ты будешь считать овец с рассвета до заката. Но там ты научишься считать — не так, как в эдуббе, где тридцать плюс двенадцать, а по-настоящему. Там ошибка в одну овцу — это овца, которую кто-то украл, и украл её, получается, ты. Там ты научишься видеть, где врут. И там ты увидишь всю страну. Не из окна храма, а целиком. Понимаешь?

Я не понимал, но кивнул.

— Отец Нигир-шаги тебя не наказывал, — сказал умиа. — Он сказал: «Отправь того, кто видит обезьян». Думаю, это Нигир-шага рассказал ему про обезьян.

* * *

Из Ура в Ниппур я шесть дней плыл на барже с ячменём для храма Энлиля. Шли вверх по Евфрату, против течения, медленно, и баржу тянули бечевой с берега то люди, то ослы. Так далеко от дома я никогда ещё не уезжал.

Я сидел на мешках с ячменём и смотрел на берега. Поля, поля и поля, высокий уже ячмень, зелёно-золотой; тёмные густые финиковые рощи, где пальмы качались на ветру, как танцовщицы; большие и маленькие каналы, прямые, как натянутые верёвки, разбегавшиеся от реки во все стороны и несшие воду на поля; деревни — несколько глиняных домов, загон для скота, колодец, пальма; склонённые спины людей в полях, мотыги, корзины. Буйволы лежали в воде у берега, выставив только морды и рога, на одной ноге неподвижно стояли белые цапли, плавали утки и пеликаны, и бесконечно шелестел тростник выше человеческого роста.

Я видел города: Ларсу с храмом бога солнца Уту, сверкавшим на солнце, огромный древний Урук со стенами, которые, говорили, построил сам Гильгамеш, маленький тихий Шуруппак, где, говорили, жил человек, переживший Великий потоп. Я смотрел на них с баржи и думал, что, наверное, никогда в них не побываю.

На шестой день показался Ниппур, священный город Энлиля, царя богов. Столицей он не был — он был больше столицы: без благословения Энлиля ни один царь не царь. Зиккурат его храма показался мне вдвое выше нашего; наверное, только показался. В Ниппуре меня встретил человек из Пузриш-Дагана, посадил на осла, и мы поехали.

* * *

Пузриш-Даган стоял в полудне пути от Ниппура, и сначала я его услышал, потом учуял и только потом увидел. Блеяние доносилось издалека, ещё за час до того, как мы приехали, — гул, как от моря, тысячи голосов, сливавшихся в один. Потом ударил запах — навоза, мочи, шерсти, пота, пыли и крови, всего вместе, — и меня чуть не стошнило с осла. А потом я его увидел.

Пузриш-Даган был сразу огромным загоном, складом, бойней и канцелярией. Посреди равнины, у канала, на несколько тысяч шагов тянулись загоны, огороженные глинобитными стенами и тростниковыми плетнями: в одних белые овцы, в других чёрные, в третьих бурые, отдельно курдючные, с хвостами, похожими на мешки с салом, и тонкорунные, с шерстью мягкой, как облако, дальше горные и равнинные козы, а огромные рогатые быки — каждый в своём загоне, на привязи. Между загонами шли улицы, и по ним ходили пастухи с посохами, погонщики с палками, писцы с табличками, надсмотрщики, носильщики и мясники в окровавленных фартуках. За загонами стояли длинные кирпичные здания — склады, бойни, кухни, жилые дома для писцов и надсмотрщиков, — а в центре канцелярия, большое здание с двором, где сидели писцы.

Через Пузриш-Даган проходил весь скот, который провинции присылали царю и храмам. Каждая провинция была обязана присылать столько-то голов в год, по очереди, и это называлось «бала», «очередь», «круговорот»: в один месяц свою долю приводил Лагаш, в другой Умма, в третий Ниппур, будто крутилось колесо, которое никогда не останавливается. Приходил скот и из-за границы — дань покорённых стран Элама, Симашки и восточных гор, подарки иноземных правителей, добыча из походов. Я видел оленей и газелей, диких горных козлов с огромными загнутыми рогами, а однажды медведя в клетке из толстых жердей, которого везли с востока в подарок царю. Медведь был огромный, бурый и всё время ходил по клетке туда-сюда, как ткачиха за станком.

И каждый день из Пузриш-Дагана уходили стада: в Ниппур, для жертв Энлилю и его жене Нинлиль, в Ур, для царской кухни и бога Нанны, в Урук, на праздник Инанны, солдатам на границе, чиновникам, иноземным послам, жрецам, царским жёнам и детям — каждый получал свою долю. И каждую овцу нужно было принять, пересчитать и записать: кому она принадлежит, откуда пришла, сколько ей лет, какой породы, здорова ли, кормлена ячменём или травой. А потом выдать и снова записать: кому, куда, зачем и по чьему приказу.

* * *

Сразу по приезде меня отвели к старому писцу Лугаль-эзему. Он сидел во дворе канцелярии на низкой скамье, окружённый корзинами с табличками. Было ему лет шестьдесят,

лицо тёмное и морщинистое, как высохший финик, глаза маленькие, острые и хитрые, а на левой руке недоставало трёх пальцев — остались только большой и указательный. Их откусил бык, когда Лугаль-эзем был молодым и неосторожным. Историю эту он рассказывал каждому новому писцу, и каждый раз по-другому: в одной версии бык был бешеный, в другой — священный, предназначенный в жертву Энлилю, и бог через быка наказал Лугаль-эзема за то, что тот неправильно его записал, а в третьей Лугаль-эзем сам сунул руку быку в рот на спор с другим писцом и проиграл три пальца и кувшин пива. Правой рукой он писал так быстро, что я не успевал следить за палочкой.

— Ты новый? — спросил он, не поднимая головы.

— Да, господин. Лу-Нанна, из Ура. Меня прислал…

— Знаю, кто тебя прислал. — Он закончил строчку, отложил табличку, поднял глаза и долго оглядывал меня с ног до головы. — Тощий. Бледный. Городской. Ты когда-нибудь видел овцу?

— Видел, господин.

— Где?

— На празднике. В Уре. Их гнали к храму.

Лугаль-эзем хрипло засмеялся, будто закашлялся.

— На празднике, — повторил он. — Хорошо. Будешь учиться. Смотри.

Он протянул мне только что законченную табличку.

— Читай.

Читать было несложно: «Десять овец, откормленных ячменём. Пять баранов. Три козла. Поступление от Лугаль-энгардуга, энси Уммы. Принял Абба-сага. Месяц такой-то, год такой-то».

— Видишь? Наверху — сколько. Ниже — какие. Ниже — от кого. Ниже — кто принял. В самом низу — месяц и год. Всё, больше ничего. Писец не пишет стихов. Писец пишет овец.

— А почему откормленных ячменём?

— Потому что откормленная ячменём овца — для богов и для царя, у неё мясо нежное, жирное. А овца, которая ела траву, — для солдат и работников, у неё мясо жёсткое. Если перепутаешь и отправишь травяную овцу Энлилю — Энлиль обидится. Жрецы Энлиля напишут жалобу. Жалоба придёт ко мне. А я приду к тебе. — Он поднял свою левую руку с двумя пальцами. — Понял?

— Понял.

— Посмотрим, — сказал он точно так же, как говорил умиа.

* * *

Год у нас, кстати, назывался не числом, а событием: каждый год царь давал ему имя по самому важному делу. «Год, когда царь Шу-Суэн построил стену против марту». «Год, когда царь Шу-Суэн изготовил великую стелу для Энлиля». «Год, когда царь разрушил страну Забшали» — это горы за Эламом, в краях Симашки. Имя года объявляли в начале года, и с этого дня писцы ставили его на каждой табличке. Если к началу года имя придумать не успевали, писали «год после того года, когда…», а если не придумывали и потом — «второй год после того года, когда…». Так что, если хочешь знать, когда что было, надо помнить все имена всех лет. Лугаль-эзем помнил их без единой ошибки за сорок лет, ещё со времён Шульги, а я сначала за три года, потом за пять, потом за десять.

Первые недели я ничего не понимал. Стада шли непрерывно, с рассвета до заката, и блеяние стояло такое, что приходилось кричать, чтобы тебя услышал человек в двух шагах. В воздухе висела густая жёлтая пыль; она оседала на табличках, на зубах, в глазах и в носу, я кашлял, чихал и тёр глаза, табличка в руках шершавела от пыли, и клинья ложились криво. Пастухи ругались на семи языках — шумерском, аккадском, эламском, на языке марту и на языках гор, которых я даже не мог назвать, а писцы ругались на одном, но громче.

Каждый вечер я приходил в комнату, где жил с тремя другими молодыми писцами, падал на циновку и засыпал не раздеваясь. Мне снились овцы: тысячи овец шли мимо меня бесконечным потоком, а я пытался их сосчитать — один, два, три… сто… двести — и сбивался, и начинал снова, и просыпался в холодном поту. А утром всё начиналось снова.

Через несколько месяцев, когда я уже научился не сбиваться, Лугаль-эзем подозвал меня вечером и показал итоговую табличку за месяц: длинные столбцы — кто прислал и сколько голов, — а внизу, под двойной чертой, отдельной строкой: «Не поступило». И одно название — Эшнунна.

— Второй месяц, — сказал он. — Энси пишет: падёж. Мор на овец.

— Так бывает?

— Бывает. — Он постучал обрубком пальца по строчке. — Только мор почему-то всегда у тех, кто далеко. У Уммы мора нет. У Лагаша нет. А у Эшнунны, за Тигром, у самых гор, — мор.

Он, как всегда аккуратно, подровнял ногтем край таблички.

— Запомни, мальчик. Сначала перестают присылать овец. Потом перестают присылать письма. Потом перестают писать имя года нашего царя. — Он помолчал. — Я видел это при Шульги, на окраинах. Тогда Шульги приходил с войском, и мор сразу кончался.

— А теперь?

— А теперь посмотрим.

Это было первое «не поступило», которое я своей рукой переписал в итоговую табличку, — одна строчка. Через десять лет такими строчками будут исписаны целые корзины.

* * *

А потом я встретил Ябниэля. Случилось это в загоне с курдючными овцами — жирными, тяжёлыми, с хвостами, болтавшимися, как мешки с салом. Я пришёл туда с табличкой пересчитать новую партию из Уммы; в сопроводительной табличке, пришедшей со стадом, значилось сто восемьдесят голов.

Я шёл вдоль ограды и путался, потому что овцы ведь не стоят на месте: одна перебегала к другой стенке, другая пряталась за третью, четвёртая ложилась, и её становилось не видно. Я сбивался и начинал заново: сто шестьдесят, сто девяносто, сто семьдесят пять. Солнце пекло, пот заливал глаза, и я готов был заплакать.

— Сто семьдесят девять, — сказал кто-то сзади.

Я обернулся. На ограде, болтая ногами и жуя травинку, сидел парень чуть старше меня, лет семнадцати или восемнадцати, загорелый почти дочерна. Одет он был не в льняную рубаху, как мы, а в плащ из козьей шкуры мехом внутрь, перехваченный кожаным поясом. Босые ноги в мозолях, твёрдых, как подошва сандалии, длинные чёрные волосы, заплетённые в несколько кос с вплетёнными бусинами, кусочками кости и перьями, короткая курчавая борода, а на шее на ремешке висел большой зуб — волчий, как я узнал потом.

— Что? — сказал я.

— Сто семьдесят девять. Одна умерла по дороге. Ты её не найдёшь — её съели пастухи Уммы. Позавчера вечером. Я видел, как жарили. Они скажут, что сто восемьдесят, но там сто семьдесят девять.

— Откуда ты знаешь?

Он пожал плечами.

— Я их пас два дня, пока их гнали сюда от границы Уммы. Меня наняли в помощь. Я знаю каждую.

— Каждую?

— Хочешь — проверь.

Он легко, как кошка, спрыгнул с ограды, вошёл в загон и стал показывать. Овцы от него не шарахались, а, наоборот, подходили и тыкались мордами ему в руки, как собаки.

— Вот эта — с рваным ухом, видишь? Это её собака порвала, ещё ягнёнком. Хромает на заднюю правую. Вот эта беременная, через месяц окотится, скорее всего двойней. Вот эта злая, бодается, не подходи к ней сзади. Вот эта старая, у неё зубов почти нет, её надо кормить мягким. Вот эта глупая, всё время отбивается от стада, её надо держать в середине. А вот у этой…

Он поймал одну овцу за шерсть на загривке и развернул ко мне. Овца недовольно заблеяла.

— Видишь клеймо? На бедре.

Я присмотрелся. На бедре у овцы был выжжен маленький знак, похожий на звёздочку с хвостом.

— Это не клеймо Уммы, — сказал парень. — Клеймо Уммы — вот, смотри, на этой. — Он показал на другую овцу, у которой клеймо было другое, две черты и кружок. — А это клеймо Адаба. Её подменили. Кто-то из пастухов отдал свою больную овцу из стада Уммы — продал, наверное, или съел, — а себе взял здоровую из стада Адаба, когда два стада шли рядом по дороге. А потом сунул её в стадо Уммы, чтобы число сходилось.

Я смотрел на него, открыв рот.

— Ты кто?

— Ябниэль.

Имя было не наше, не шумерское и не аккадское. Так, я знал, звучат имена людей из степи, тех, кого мы называем марту. Марту — кочевники, живущие на северо-западе, за Евфратом, в степях и пустынях, где нет ни городов, ни каналов и не растёт ячмень. Они пасут овец и коз, кочуют с места на место и живут в шатрах из чёрной козьей шерсти. В городах их не любят и боятся и рассказывают о них страшные вещи. В эдуббе мы переписывали стихи про марту: «Марту, который не знает зерна. Который копает трюфели у подножия гор. Который не сгибает колен. Который ест сырое мясо. Который не имеет дома при жизни. Который не похоронен после смерти». Мы переписывали их и смеялись. «Марту» было смешное слово, вроде «обезьяны».

— Ты марту, — сказал я.

— А ты писец, — ответил он, улыбаясь белыми, ровными, крепкими зубами. — Мы оба кое-что умеем. Ты умеешь писать овец. Я умею их знать.

* * *

Я записал «сто семьдесят девять» и добавил отметку о подменённой овце из Адаба. Как правильно это записать, я не знал — такому в эдуббе не учили, — и написал: «Одна овца с клеймом Адаба. В стаде Уммы. Подмена».

Вечером, проверяя мою табличку, Лугаль-эзем поднял бровь.

— Сто семьдесят девять? В сопроводительной табличке сто восемьдесят.

— Одну съели по дороге. Пастухи Уммы.

— Откуда знаешь?

— Пастух сказал.

— И про Адаб тоже пастух сказал?

— Да.

— Какой пастух?

— Марту. Ябниэль.

Лугаль-эзем хмыкнул и почесал культю на левой руке — он всегда так делал, когда думал, — и долго смотрел на табличку.

— Ябниэль, — повторил он. — Знаю его. Его наняли весной. Отец у него старейшина какого-то рода. Говорят, они пришли к стене, которую строит царь, и их не пустили. Голодали зимой. И отец отправил младшего сына к нам работать.

— Зачем?

— Затем, что голодно, — сказал Лугаль-эзем. — Зачем ещё люди работают?

Он взял палочку и что-то исправил на моей табличке. Я посмотрел: он переписал мою кривую фразу про подмену правильной формулой.

— Марту знают овец лучше нас, — сказал он. — Это правда. Это единственное, что они знают лучше нас. — Он помолчал. — Но держись от них подальше. Сегодня он тебе считает овец, а завтра угонит их к себе в степь. Они все такие. У них нет ни дома, ни бога, ни закона. Они как ветер: сегодня здесь, завтра там.

Я кивнул. Но назавтра снова пошёл в загон к курдючным.

Ябниэль сидел на той же ограде и жевал травинку. Увидев меня, он улыбнулся.

— Опять считать пришёл? — спросил он.

— Пришёл.

— Сколько их сегодня?

Я посмотрел на загон, на толпу шерсти, и понятия не имел.

— Сто семьдесят девять, — сказал я наугад.

— Сто восемьдесят три, — сказал Ябниэль. — Ночью четыре окотились.

Он засмеялся, и я засмеялся тоже.

Глава 7. Тот, кто не знает зерна

Пузриш-Даган, около 2032 года до н. э.

Эту главу я пишу словами Ябниэля. Он рассказывал мне свою историю по частям, ночами, у костра, когда мы стерегли стада. Я записываю, как запомнил. Если где-то ошибся — пусть он меня простит. Он всегда прощал мои ошибки. Кроме одной: я так и не научился различать овец по лицам.

* * *

Ябниэль родился в шатре из чёрной козьей шерсти где-то между Евфратом и горами, которые его народ называл Басар. В каком году, он не знал: у марту нет имён годов, они считают время по зимам и засухам, по рождениям ягнят и смертям стариков. «Я родился в ту зиму, когда умер дед моего отца, и в ту весну, когда волки утащили тридцать коз», — так он говорил. По нашему счёту это было где-то в середине долгого правления царя Шульги.

У его рода не было ни города, ни храма, ни амбара — только овцы, козы, ослы, шатры и степь, бесконечная, как небо, и плоская, как стол: летом жёлтая, выжженная, весной зелёная, в цветах, такая красивая, что хотелось плакать, а зимой серая и холодная, с ледяным ветром с гор.

Род назывался Бану-Ямина, «сыновья правой руки» — правая рука, если смотреть на восход, это юг. Были ещё Бану-Сималь, «сыновья левой руки», северные роды. Они не враждовали, но и не дружили, и каждый ходил своими дорогами. Каждую весну род уходил на север, к горам Басар, где била вода из родников и трава всё лето стояла высокая и сочная, а каждую осень возвращался на юг, к Евфрату, пережидать зиму в долинах, защищённых от ветра. Так ходили их отцы, деды и деды дедов, сотни лет, а может, и тысячи, и дороги были проложены копытами и ногами так давно, что никто не помнил, кто прошёл по ним первым.

Ябниэль знал, где в степи вода, — по цвету травы, по полёту птиц, по тому, как ложится пыль. Если в одном месте трава зеленее, чем вокруг, там под землёй вода; если вечером голуби летят в одну сторону, там водопой; если пыль ложится тяжело и сразу, а не висит в воздухе, скоро дождь. Дождь он узнавал и по запаху ветра: перед дождём ветер пахнет железом и мокрыми камнями. Знал он и звёзды, по которым можно идти ночью, не сбиваясь с пути. У каждой звезды было имя, а у каждого имени история. С пяти лет отец каждую ночь показывал ему на небо и говорил: «Это Глаз Волка. Это Посох Пастуха. Это Семь Сестёр. Это Колодец. Это Шатёр Эля» — и рассказывал, почему их так зовут.

* * *

Отец Ябниэля, Зимри-Эль, был старейшиной рода — не царём, у марту нет царей, а просто старшим, тем, чьё слово весит больше остальных и кто решает, когда сниматься с места, куда идти, с кем дружить и с кем воевать. Он был стар, хромал на левую ногу, которую когда-то сломал ему онагр, и знал наизусть имена всех своих предков до двадцатого колена.

— Ябни, сын Зимри-Эля, сына Ахи-Шара, сына Ямуд-Лима, сына… — Ябниэль мог перечислить всех двадцать, и каждое имя было человеком, который жил, пас овец, любил, воевал, умер и был похоронен в степи под камнями.

— Зачем тебе знать их всех? — спросил я однажды.

— Чтобы знать, кто я, — сказал он. — Ты — сын землемера. А дальше? Кто был отец твоего отца?

— Тоже землемер. Ур-Нанше.

— А его отец?

Я подумал.

— Не знаю.

Ябниэль посмотрел на меня с жалостью.

— Вот видишь. У вас есть таблички. Вы записываете каждую овцу. А своих дедов не помните.

Я хотел возразить, но не нашёл что.

* * *

Однажды осенью, когда род вернулся к реке, оказалось, что там, где раньше были пастбища, теперь стоит стена.

Ябниэлю было тогда лет пятнадцать. Он шёл впереди вместе с отцом и старшим братом Яхдуном, высоким, сильным и вспыльчивым. Они поднялись на холм, откуда всегда открывался вид на долину, на зимние пастбища и тамарисковые рощи у воды, и остановились. Через долину тянулась длинная, прямая, бурая линия, словно шрам на теле земли; она начиналась где-то за горизонтом слева и уходила за горизонт справа, будто кто-то провёл по земле огромным ножом.

— Что это? — спросил Яхдун.

Отец не ответил. Он долго смотрел, а потом начал спускаться с холма.

Вблизи это оказалось не настоящей стеной, как у городов, а скорее валом, насыпью из утрамбованной земли высотой в два человеческих роста, кое-где уже обложенной поверху кирпичами. Через каждые несколько сотен шагов над валом поднималась квадратная башня из сырцового кирпича, и на башнях сидели люди в кожаных шлемах, с копьями, а перед валом был выкопан ров, куда пустили речную воду. Когда род подошёл ближе, люди на башне закричали что-то на непонятном языке и стали показывать копьями: уходите.

Отец поднял открытую ладонь — знак мира — и крикнул что-то по-своему. На башне его не поняли и закричали в ответ ещё громче.

— Я пойду говорить с ними, — сказал отец.

— Я с тобой, — сказал Яхдун.

— Нет. Ты останешься. Если я не вернусь, ты поведёшь род. — Отец посмотрел на Ябниэля. — Ты пойдёшь со мной. Ты смотришь лучше всех. Смотри и запоминай.

В подарок он взял лучшего барана из стада, огромного, белого, с закрученными рогами, и они вдвоём пошли к башне: отец хромал, а Ябниэль вёл барана на верёвке. Ждать их заставили полдня, у рва, на солнце, без воды. Баран блеял, Ябниэлю так хотелось пить, что язык прилипал к нёбу, а отец неподвижно, как камень, сидел на земле и смотрел на башню.

Потом из ворот в валу вышел человек — не воин, а писец, хотя Ябниэль тогда ещё не знал, что такое писец. Он увидел человека в длинной белой одежде, с бритой головой и плоским куском глины в руках, который он держал так бережно, как держат новорождённого ягнёнка. С ним был переводчик, старый марту из какого-то северного рода, давно живший среди городских и говоривший на обоих языках.

Писец оглядел отца, Ябниэля и барана и коротко что-то сказал.

— Он спрашивает, кто вы и чего хотите, — сказал переводчик.

— Мы — Бану-Ямина, — сказал отец. — Я — Зимри-Эль, сын Ахи-Шара. Мы пришли на зимние пастбища, как каждую осень. Как приходили наши отцы. Мы хотим пройти к реке.

Переводчик перевёл. Писец выслушал, опустил глаза на свою глину, что-то там нашёл и заговорил длинно, ровно и без выражения, будто читал.

— Он говорит, — перевёл переводчик, — что по приказу царя Ура, Шу-Суэна, бога страны, царя четырёх сторон света, марту запрещено переходить эту черту. Эта стена называется «Отгоняющая Тидним». Земля по эту сторону принадлежит Уру. Если марту хотят пасти скот на этой земле, они должны прийти как работники, а не как хозяева. Они могут наняться пастухами к царю, к храмам, к знати. Пасти скот царя, а не свой. И получать плату ячменём.

— А наши овцы? — спросил отец.

— Ваши овцы могут остаться по ту сторону стены.

— Но там нет травы. Зимой там нет травы. Там нет воды. Река — по эту сторону.

Переводчик перевёл. Писец пожал плечами и коротко ответил.

— Он говорит, это не его дело. Его дело — передать приказ.

— Это не наша стена, — сказал отец спокойным голосом, но Ябниэль видел, как побелели костяшки его пальцев на посохе. — Это наша земля. Мы ходим по ней сто поколений. Мои предки лежат по эту сторону. Моя жена лежит по эту сторону, под тамариском у реки. Я похоронил её там три зимы назад.

Переводчик перевёл. Писец долго смотрел на отца, и в глазах у него что-то мелькнуло — Ябниэлю показалось, что сочувствие, а может быть, усталость. Он тихо что-то сказал.

— Он говорит, — переводчик помолчал, — он говорит, что ему жаль. Но приказ есть приказ.

Отец медленно встал, опираясь на посох, и поклонился писцу — не низко, как кланяются царю, а коротко, как равному.

— Возьми барана, — сказал он. — Это подарок. Не за проход. Просто так. Чтобы ты помнил, что мы приходили.

Писец взял верёвку. Ябниэль так и не забыл, как он смотрел на барана — как на что-то, что нужно записать.

* * *

Ту зиму они пережили плохо. Стояли по ту сторону стены, в долине без травы и воды: пастбища там выгорели на летнем солнце, а вода была только в редких колодцах, мутная и солёная. К реке ходили тайком, ночью, в обход стены, далеко на север, где она кончалась, но там стояли другие роды, которым тоже нужна была вода, и начались драки.

Погибла треть стада. Овцы умирали от голода, болезней и холода, ягнята рождались мёртвыми, козы переставали давать молоко. Умерли двое стариков: дядя Ябниэля, брат отца, который однажды вечером просто лёг в шатре и не проснулся, и старуха, знавшая все песни рода, — песни умерли вместе с ней. А в середине зимы пришла лихорадка и унесла троих детей, и одним из них был трёхлетний сын Яхдуна.

Яхдун не плакал. Он вышел из шатра с мечом в руке и пошёл к стене. Отец, хромая и задыхаясь, догнал его и встал перед ним.

— Куда?

— Убивать.

— Кого?

— Их всех. Тех, кто на стене.

— Их больше, — сказал отец. — Их всегда больше. У них стена, у них оружие, у них зерно. Ты убьёшь одного. Тебя убьют. И тогда я похороню двоих вместо одного.

Яхдун стоял перед ним и дрожал. Потом бросил меч на землю, сел рядом и закричал так, что, наверное, было слышно на башнях. Утром мальчика похоронили в степи, по ту сторону стены, под камнями, и поставили знак.

* * *

Весной отец собрал род. Все мужчины, старые и молодые, сидели вокруг большого костра, женщины стояли за ними, дети спали в шатрах, а отец сидел на почётном месте, на овечьей шкуре, опираясь на посох.

— Мы не можем воевать с городом, — сказал он. — Город сильнее. У города есть стена. У города есть зерно — столько зерна, что они могут кормить своих воинов всю зиму, и весну, и лето, а мы не можем прокормить даже своих детей. У города есть писцы, которые записывают каждую овцу. Мы не умеем записывать. Мы умеем только знать.

Он замолчал и посмотрел на огонь.

— Мой отец говорил: если не можешь победить реку — научись плавать. Мы не можем победить город. Значит, должны научиться жить рядом с ним. А для этого — понять, как он устроен.

Он посмотрел на сыновей — на Яхдуна, на Ябниэля и на двух средних, сидевших рядом.

— Кто-то из вас пойдёт к ним. Наймётся, будет пасти их стада и получать их зерно, а зерно мы будем делить на весь род. И будет смотреть и учиться. Как они живут, как думают, как пишут на своей глине. Почему одно слово писца может остановить целый род. А когда научится — вернётся и расскажет нам.

— Я пойду, — сказал Яхдун.

— Нет, — сказал отец. — Ты нужен роду, ты будешь старейшиной после меня. И ты слишком горячий. Ты убьёшь первого же писца.

Яхдун промолчал: это была правда.

— Пойдёт Ябни, — сказал отец.

Все повернулись к Ябниэлю.

— Почему он? — спросил кто-то из старших. — Он младший. Он ещё мальчик.

— Потому что он смотрит так, — сказал отец, — будто хочет съесть весь мир глазами. — И впервые за всю зиму улыбнулся. — Пусть съест город. Посмотрим, не подавится ли.

* * *

— Самое смешное, — сказал мне Ябниэль, рассказывая это, — что в первый же день меня спросили, как зовут моего отца. Я назвал: Зимри-Эль. Писец не смог написать. Сказал, что в шумерском такого звука нет и знака для него тоже нет, и записал меня просто: «Ябни, марту». Половину имени отрезал. Как ухо у овцы, чтобы пометить.

Мы сидели у костра. Ночь была холодная и звёздная, мы стерегли стадо — двести откормленных овец, которых утром должны были отправить в Ниппур на праздник Энлиля. Стадо спало, только иногда какая-нибудь овца вздыхала во сне, совсем как человек. Где-то вдалеке выли шакалы, а наши собаки лежали у костра, положив морды на лапы, и иногда настораживали уши.

— А как правильно? — спросил я.

— Ябни-Эль. «Бог создал». Эль — это наш бог, самый старший. Он живёт… — Ябниэль махнул рукой в сторону неба, — везде.

— У нас тоже есть старший бог, Ан. Он живёт на небе, самом высоком.

— Значит, может, это один и тот же. Только вы его называете по-своему, а мы по-своему.

Мысль была странная, и я задумался. В эдуббе нас учили, что у каждого города свои боги — у Ура Нанна, у Ниппура Энлиль, у Урука Инанна и Ан, у Лагаша Нингирсу, у Эриду Энки, — что боги живут в своих храмах и статуях, едят, пьют, спят, женятся, ссорятся и плавают друг к другу в гости на лодках, и у каждого есть дом, жена, слуги и стада. А у марту, говорили учителя, настоящих богов нет, одни духи и злые демоны, потому что у них нет храмов.

— А где живёт ваш Эль? — спросил я. — В каком храме?

— Ни в каком. Он живёт в шатре.

— В каком шатре?

— В любом. Где мы, там и он. Идём на север — он идёт с нами. На юг — тоже. Зачем ему храм? Храм с собой не унесёшь.

— А статуя?

— У нас нет статуй. У нас есть камни. — Ябниэль показал на амулет у себя на шее. — Не этот, это зуб. Камни мы ставим там, где нам явился бог или где мы кого-то похоронили. Ставим камень, помазываем его маслом, и это его место. Когда проходим мимо, останавливаемся и говорим с ним.

— С камнем?

— С богом. Камень — это просто дверь. Как ваша статуя — тоже дверь. Только камень легче.

Мне подумалось, что в этом есть что-то правильное, но вслух я этого не сказал.

* * *

— Ты знаешь, что про вас говорят в городе? — спросил я.

— Знаю. Что мы едим сырое мясо. — Ябниэль снял с огня насаженный на палку кусок баранины, прожаренный до черноты, с хрустящей корочкой, и откусил. — Видишь? Сырое.

Я засмеялся.

— Ещё говорят, что вы не знаете зерна.

— Мы знаем зерно. Мы его меняем на шерсть, сыр, кожу. Каждую осень приходим у реки к деревням и меняем. Просто не сеем. Зачем сеять, если можно поменять? Сеять — значит сидеть на одном месте и ждать, пока вырастет. Бояться, что не вырастет. Бояться саранчи, засухи, наводнения. Копать каналы. Платить долю храму. Нет, нам это не нужно.

— Говорят, что вы не сгибаете колен.

— Перед кем?

— Перед богами. Перед царём.

Ябниэль задумался.

— Перед Элем сгибаем. Перед отцом сгибаем. Перед царём… — Он пожал плечами. — Какой царь? У нас нет царя.

— А перед нашим царём?

— Я его не видел. Если увижу — посмотрю, стоит ли сгибать.

Я снова засмеялся, а потом подумал, что в Уре за такие слова могут выпороть, а то и хуже.

— Говорят, что вы не хороните своих мёртвых, — сказал я.

Ябниэль перестал жевать и долго смотрел в огонь. Огонь трещал и выбрасывал искры, которые поднимались вверх и гасли среди звёзд.

— Мы хороним, — сказал он наконец. — В степи, под камнями. Не в доме, как вы, — у нас нет домов. И не на кладбище — у нас нет кладбищ. Там, где человек умер или где он любил стоять. Складываем камни и ставим знак, чтобы знать, где он лежит. И каждый год, весной и осенью, когда проходим мимо, останавливаемся, говорим с ним, оставляем молоко и сыр. Рассказываем, что случилось за год: кто родился, кто женился, сколько ягнят.

Он помолчал.

— Моя мать лежит там, под тамариском у реки. Там, где теперь ваша стена. Теперь я не могу к ней прийти. Уже три года никто с ней не говорил. Она не знает, что я вырос. Не знает, что у брата умер сын. Не знает, что я здесь.

Мы долго молчали.

* * *

Потом он сказал:

— Научи меня писать.

— Что?

— Писать. Знаки. Отец сказал — учись. Я хочу понять, как это. — Он повернулся ко мне, и глаза у него горели в свете костра. — Как можно нарисовать овцу на глине, и она становится твоей? Ты пишешь «сто семьдесят девять» — и это правда, даже если я знаю, что одну съели. Нет, подожди, я не так говорю. Ты пишешь «сто восемьдесят» в табличке из Уммы — и все верят табличке, а не мне. Хотя я видел. Хотя я знаю. Табличка сильнее моих глаз. — Он сжал кулак. — Писец пишет «эта земля принадлежит Уру» — и это правда, даже если там лежит моя мать. Как это работает? Почему знак на глине сильнее, чем то, что есть на самом деле? Я хочу знать.

Я не знал, что ответить. Никто никогда не задавал мне такого вопроса. В эдуббе мы учили знаки, но никогда не спрашивали, как они работают и почему они сильнее правды. Они просто работали, как солнце, как река, как боги.

— Это запрещено, — сказал я наконец. — Учить письму могут только в эдуббе. Писцы — это… это как жрецы. Не каждый может.

— Здесь нет эдуббы. Здесь есть только овцы. И звёзды.

Он показал на небо.

— Давай так, — сказал он. — Ты учишь меня знакам, я учу тебя звёздам. Честный обмен. Как у реки осенью — шерсть на зерно.

Он лёг на спину, подложив руки под голову, и показал вверх.

— Видишь вон ту? Красную? Низко, над самым горизонтом?

Звезда и правда была красноватая, как уголёк.

— Это Глаз Волка. Когда она встаёт перед рассветом, через месяц начнутся дожди. Надо уводить стада с низин, а то затопит.

— А вон та? Яркая, белая?

— Это Посох Пастуха. По ней идут ночью на север. Она всегда на одном месте. Все звёзды ходят по небу кругом, а она стоит, как столб, к которому привязан шатёр.

— А вон те? Маленькие, кучкой?

— Это Семь Сестёр. — Ябниэль улыбнулся. — Видишь, сколько их?

Я посчитал. Звёзды мерцали и сливались.

— Шесть.

— Семь. Седьмая прячется. Её видят только те, у кого очень хорошие глаза. Или очень чистое сердце. — Он засмеялся. — Я вижу. Иногда.

— И что они значат?

— Весной они уходят за солнце, и когда их не видно, овцы котятся. А когда они возвращаются перед рассветом, пора уходить на зимние пастбища. Всё по кругу. Всему своё время.

Я лежал рядом с ним на земле, смотрел на звёзды и будто видел их впервые. Нет, видел я их и раньше, каждую ночь на крыше в Уре, но никогда не думал, что у них есть имена, что эти имена что-то значат и что по ним можно жить. У нас в Уре звёзды тоже имели имена: жрецы следили за ними с вершины зиккурата, записывали, когда какая встаёт и заходит, и предсказывали по ним судьбу царя, урожай и войну. Но это знали только жрецы, а простые люди нет. Мой отец знал, что вечерняя звезда — это Инанна, и всё. А этот парень в козьей шкуре знал сотню звёзд и про каждую — что по ней делать.

— Хорошо, — сказал я.

* * *

На следующую ночь я принёс маленький комок глины, завёрнутый в мокрую тряпку, и тростниковую палочку. Мы сели у костра, я разгладил глину на колене и вдавил первый клин.

— Это «а». Вода.

Ябниэль взял палочку и повертел её в грубых мозолистых пальцах, привыкших к пастушьему посоху, верёвкам и ножу. Держал он её, как держат нож, в кулаке.

— Нет, — сказал я. — Не так. Вот так, тремя пальцами. Как будто держишь птенца, чтобы не раздавить.

Он неловко перехватил палочку и вдавил клин криво и неглубоко, так что глина треснула. Мы посмотрели на трещину.

— Это не вода, — сказал я. — Это дохлая лягушка.

Мы оба расхохотались так громко, что проснулось полстада: овцы вскочили и заблеяли, вдалеке залаяли собаки, а наши собаки у костра подняли головы и посмотрели на нас с укоризной.

— Ещё раз, — сказал Ябниэль, отсмеявшись.

Он сам, без подсказки, разгладил глину ладонью, как видел у меня, и вдавил клин снова — медленно и осторожно, будто ставил ловушку на зверя. Клин вышел ровный. Ябниэль долго смотрел на него, потом поднял на меня глаза.

— Вода, — сказал он.

— Вода, — сказал я.

* * *

Узнай об этом Лугаль-эзем, он, наверное, в тот же день выгнал бы меня из Пузриш-Дагана, умиа велел бы выпороть так, чтобы я месяц не мог сесть, а отец Нигир-шаги навсегда вычеркнул бы меня из всех списков. Но они не узнали.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.